

Инна Александрова

**SALUS POPULI
SUPREMA LEX EST**

**БЛАГО НАРОДА -
ВЫСШИЙ ЗАКОН**

Инна Александрова

**Salus populi suprema lex est. Благо
народа – высший закон (сборник)**

«Автор»

2015

Александрова И.

Salus populi suprema lex est. Благо народа – высший закон (сборник)
/ И. Александрова — «Автор», 2015

Инна Александрова трудилась всю жизнь: в пятидесятые прошлого века учила ребятишек литературе и русскому языку в русско-татарской Бугульме; в шестидесятые преподавала древнерусскую литературу и восемнадцатый век в пединституте бывшего Кёнигсберга; тридцать лет редактировала книжки в научных издательствах. В сорок первом вместе с родителями была репрессирована, хотя преступление заключилось в единственном слове, означающем национальность. По ошибке в паспорт отца было вписано «немец». Пишет с восемьдесят четвертого года: в журнале «Огонёк», вышла первая повесть. Были публикации в «Знамени», «Континенте», «Правозащитнике», «Диалоге», теперь – в нью-йоркском «Слово/Word». Автор одиннадцати книг. Предлагаемая – двенадцатая. Книги – о тихом мужестве обиженных, но не сломленных людей, о тех, кто сумел сохранить человеческое достоинство в самых тяжелых условиях.

© Александрова И., 2015

© Автор, 2015

Содержание

Salus populi suprema lex est	6
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Инна Александрова
Salus populi suprema lex est. Благо
народа – высший закон (сборник)

© Инна Александрова, 2015

© Независимое издательство «Пик», 2015

* * *

Salus populi suprema lex est **Благо народа – высший закон**

*О, были б помыслы чисты!
А остальное все приложится.*

Булат Окуджава

«А я приду к тебе, мой милый, из безвозвратной стороны», – шепчет, мурлычет себе под нос жена Дина, а я, дурак, никак не могу понять, что за безвозвратная сторона. Когда доходит, становится страшно. Сам в эту сторону еще не хочу, а Дина... Свое желание скорей туда попасть объясняет усталостью, желанием покончить с тем, чего натерпелась в этой, земной, жизни. Натерпелась же много, ох! как много...

Ей было четыре года, когда толстая, жирная, вонючая тетка, отбросив ее рукой, прошипела: «У...у...у, жидовское отродье». Дина не заплакала, а побежала к маме спросить, что же такое «жидовское отродье». Мама – красавица, комсомолка в красной косыночке, почему-то заплакала и плакала долго, неутешно. Потом Дине много встречалось таких теток и дядек. Она тоже плакала, но ничего не изменилось. Я – русский, православный, но как же ненавижу этих теток и дядек! Как ненавижу!.. Мог бы – задушил...

Родился в Подмоскowie в тридцать третьем и, кажется, помню себя с пеленок. По крайней мере, главное воспоминание самого раннего детства – спеленутость, несвобода. Мне всегда хотелось вырваться из пут, а потому, став постарше, ненавижу тесную одежду.

Родители приехали в Подмоскowie на какое-то время: в Москве жили все близкие родственники матери. Отец родом с Урала, из Челябинской губернии. Жили на Урале в совхозе, чтобы как-то прокормиться: я был уже третьим ребенком. Мать, как и отец, окончила финансовый техникум и всю жизнь проработала в сберкассе – так тогда назывались теперешние сбербанки. Уходя на работу, они совали мне в рот нажеванный и завернутый в марлю хлебный мякиш, а мои две «няньки» – четырех и трех лет братья – убежали на улицу. Я заходился в голодном крике. Оттого и рос рахитичным, долго не ходил, не говорил. Мычал.

Наверно, так скучно жили тогда не все: на селе многие имели хозяйство, скот, огороды. Мои же интеллигентные родители абсолютно ничем не располагали, кроме троих детей и мизерной зарплаты. Хотя отец работал фининспектором, взятки не брал – не мог и подумать об этом.

Отца не помню, но, по рассказам матери, он был неутомимым оптимистом и, когда спрашивали: «Митя, как живешь?», бодро отвечал: «Хорошо живу: под головой – мешок с мукой. Подушки нет. Молоко детям ношу в ведре: другой посуды нет...» Был предельно честным, открытым, веселым.

Не помню его потому, что погиб он, когда мне было всего полтора года. Мы с братом Геней сильно болели, нужно было лекарство. На рабочем поезде он поехал в Челябинск. Возвращаясь – поезд замедлял ход – спрыгнул, упал и ударился головой о рельсы. В беспомощности отвезли в город, в больницу. Там и нашла его мать. Он ее не узнал. Теперь, может, и спасли бы. Ему было чуть за тридцать. Нам, ребятам, – четыре, три и полтора года.

Отплакав положенное, мать решила возвращаться в Москву к своим родным, но не больно-то ее ждали. Площадь – жилая, – с которой уезжала на Урал на практику и там вышла замуж, была занята старшей сестрой. Ей пришлось искать пристанище в Подмоскowie. Оно нашлось в Красной Пахре.

Мать, Тамара была красивой волоокой женщиной. Я не волоок. У меня глаза обычные – серые. В молодости были приличные, а теперь... с мешками. Как и мать, почти всю жизнь – очкарик. Мама была пятым ребенком в семье, и ее отец, мой дед, умер, когда ей было два года, а потому накануне Первой мировой отдали ее на воспитание в немецкую общину, то есть в немецкий детский дом. Жили они тогда в Либаве, теперешней Лиенае. Учась и разговаривая в общине по-немецки, мать плохо говорила по-русски, а когда началась Первая мировая, попросила старших сестер купить ей православный крестик, чтобы все знали, что она не немка.

Дед со стороны матери был акцизным чиновником. Акциз – это вид косвенного налога на предметы массового потребления. Налог включался в цену товара и был важнейшим источником бюджета страны с рыночной экономикой. В СССР такого налога не было. Акцизные чиновники, надо думать, жили неплохо. Вино, как вспоминали сестры матери, всегда было на столе, пока жив был дед. И, хотя богатыми они не были, концы с концами сводили.

Когда началась Первая мировая, немецкая община распалась, мать вернулась домой. Воспитательницей ее стала Надежда, старшая сестра. Разница – восемнадцать лет. Мать была капризным ребенком. Эту черту характера унаследовал и я. Но я капризничаю только дома и никогда на людях.

Женились они с отцом, как говорила мать, по любви, потому смерть отца перенесла тяжело. Старшего сына Сашу при отъезде с Урала «на время» попросили родственники отца. Она отдала и, как оказалось, навсегда, хотя Саша, став взрослым, часто к ней приезжал и, по моему, обиды не держал.

Несчастные не очень кому-то нужны. Место матери в Москве было занято старшей сестрой Соней и ее семьей. Бабушка, мамина мать, теперь сама жила в приживалках, и нам пришлось ехать в Пахру. Здесь дали и работу, и комнатку при сберкассе: маленькую – метров десять. Мы втроем вполне прилично разместились. Даже кот с собакой немедленно появились: животных мать любила. В сельской местности собака и кошка обычно дармоеды: их можно обидеть, не кормить. Мать делилась последним.

Жили на крошечную материнскую зарплату. Тогда, в отличие от теперешнего, в сберкассах платили сущие копейки. Никакими «шахер-махерами» никто не занимался: тут же упрятали бы за решетку. За отца никакой пенсии не дали, так как погиб не «при исполнении служебных обязанностей», да и вообще пенсий в то время практически не было. В Пахре люди жили натуральным хозяйством и жили неплохо – не голодали. У нас же, кроме двух маленьких грядок, ничего не было: соседи не желали делиться ни землей, ни сараюшкой. Что могла предложить детям одинокая женщина, кроме одноразовой похлебки и кусочка хлеба? Когда я сильно заболел, мать позвонила в Москву сестре Надежде. Бездетная Надежда, недавно вышедшая замуж за иностранца-политэмигранта, предложила забрать меня. Обе понимали: в Пахре я умру.

Надежда забрала меня полуторогодовалого и с этого времени стал я московско-арбатским мальчиком. Моя московская жизнь – с некоторыми перерывами – продолжается и по сию пору, хотя теперь живу, конечно, не на Арбате.

Жизнь Надежды, сестры матери, что забрала меня, – хоть пиши роман! Из-за того, что отец умер рано, не поставив детей на ноги, трудиться начала в четырнадцать лет: посадили в магазине за кассовый аппарат. Всю жизнь работала много и разнообразно, официально выйдя на пенсию в семьдесят лет. Но и после семидесяти подрабатывала массажем. Хотя не кончила гимназии, писала очень грамотно, потому как всегда читала. До революции работала мелким чиновником на почте, в учебном округе, выучилась печатать на машинке.

Надежда жила в Вильно. Любила его бесконечно. И вообще, благословен тот, кому удалось увидеть этот город, каким был и каким остался – причудливо-барочным, с итальянской архитектурой, перенесенной в северные края, городом, где история запечатлена в каждом камне, городом сорока католических костелов и множества синагог – до массового отъезда

евреев. Евреи в те далекие времена называли его Иерусалимом Севера. Свою любовь к Вильно Надежда передала и мне: так случилось, что я учился – заочно – в Вильнюсском университете.

Очень редко, но иногда Надежда рассказывала мне о гражданской войне: как одни русские мужики убивали других русских. На ее глазах «красные» вытаскивали из поездов тех офицеров, которые не сняли с себя погоны, и расстреливали тут же, на месте. В сорок третьем, во время Второй мировой, когда в Советской армии ввели погоны, она горько плакала: видно вспоминала картины убийств. Очень осторожно, но еще в сороковые, как-то сказала, что когда Николай II отрекся от престола, поняла, что Россия погибла, хотя монархисткой, как сейчас понимаю, никогда не была.

Служа в санитарном поезде и ухаживая за сыпнотифозными, заразилась тифом. Каким-то путем, уже больная, попала в Одессу, которая в то время была у «белых». Как потом оказалось, мать и сестры считали ее давно погибшей. Переболев и выбравшись из ямы смерти, снова стала работать медсестрой. И тут на пути ее встретился врач Михаил Жданов. Надежда официально вышла за него замуж – даже фамилию поменяла, но Жданов оказался кокаиинистом. Наверно, потому ее первая беременность окончилась выкидышем, причем таким, что она больше не имела детей.

Из Одессы они со Ждановым попали в Новороссийск и здесь пережили эвакуацию «белых», которая запомнилась кошмаром. Когда судьба забросила их в Джанкой, зеленый крымский городок показался тихой пристанью. Но пагубное пристрастие доконало Жданова: в середине двадцатого года он умер.

Пережив весь ужас взятия Джанкоя красногвардейцами, не знала, что делать дальше: оставаться в Крыму или возвращаться к родным, которые жили в то время в Питере. Думаю, если бы оказалась в Севастополе – ушла бы в эмиграцию, но она стала пробираться на Север, в Петроград, не зная, что родные уже живут в Москве. Продав последние ценные вещички, из Питера подалась в Москву.

Москва встретила не распростертыми объятиями: родные сами ютились в коммуналке, в двух маленьких комнатках. И здесь на помощь пришла виленская подружка, которая уже достаточно давно обосновалась в Москве и жила на Знаменке – потом улице Фрунзе, а теперь снова Знаменке, что в десяти минутах ходьбы от Боровицких ворот Кремля. Дом по тем временам был шикарнейший. В квартире, куда подселась, проживал когда-то преуспевающий врач. Их одиннадцатиметровая комната казалась раем, а вскоре подруге за доброту подфартило: попался хороший человек, взял замуж. Комната осталась за Надеждой. Это было в двадцать втором, и она прожила в ней пятьдесят лет. Не очень давно поинтересовался теперешней судьбой квартиры – сходил. Меня не пустили дальше шикарно отделанной прихожей: квартира опять стала не коммуналкой. В ней «царствует» богатая бизнесменша.

Живя с двадцать первого года в Москве, Надежда никогда не покидала город, даже в войну. Потому и комнату сохранила: иначе кто-нибудь обязательно бы оттяпал. Работала только в медучреждениях сестрой, а последние пятнадцать лет – перед пенсией – массажисткой. Труд – физический, тяжелый.

Ведя, как говорится, праведный образ жизни, все свободное время, а его было очень мало, читала. Любила театр, но денег всегда не хватало. В конце двадцатых годов познакомилась с итальянским политэмигрантом Марио Дечимо Тамбери.

* * *

Одинокой женщине нужен друг, муж, помощник. И он нашелся: соседи с пятого этажа познакомили с иностранцем – политэмигрантом из Италии, коммунистом. Марио, хотя и был мелким торговцем, бежал от фашизма. Он повел Надежду в ЗАГС, и она стала Надеждой Ивановной Тамбери. Так написано и на ее гробовой доске. Оба молодожена были на пятом десятке.

О детях не могло быть и речи, а потому очень привязались ко мне. Так как оба работали, ко мне взяли няню – девочку из деревни. Зарабатывал Тамбери хорошо: был рабочим на шарикоподшипниковом заводе. Как иностранец, получал спецпайки.

Что помню об итальянце? Вспоминаю, как приходили к нему друзья – шумные, веселые. Приносили гостинцы, играли со мной, называя «бамбино». Они тоже были рабочими, хотя у себя на родине занимались совсем другим делом. Как и Тамбери, бежали от фашистского режима, но в СССР не увидели «рая», как грезилось издали. Советский «рай» вблизи оказался совсем не прекрасным, и помню, как Тамбери, мешая итальянские слова с русскими, кричал продавцу: «Я – рабочий, ты – рабочий. Почему меня обвешиваешь?!.»

В Италии у него остались жена и сын Ренцо. Фотография Ренцо висела у нас на стене. Марио не знал, увидит ли их снова, увидит ли свою солнечную Италию, но, забегая вперед, скажу: увидел, хотя для этого надо было пройти многим годам и событиям.

Наверно, тот год, что прожил вместе с Тамбери, был самым безоблачным и счастливым. Я быстро начал понимать итальянские слова. Мы постоянно с ним спорили, кому достанется луковица из супа, а, намыливая при бритье щеки, он строил мне рожи. Я визжал от страха и удовольствия. По воскресеньям водил гулять на Гоголевский бульвар, и мы прятались друг от друга за деревьями, пока однажды он чуть не выколол себе глаз веткой. Когда Марио волновался, совсем забывал русские слова, и я выступал между ним и Надеждой переводчиком, хотя сейчас – хоть убей! – ничего по-итальянски не помню, кроме нескольких слов. Смотри на фотографию, где мы втроем, вижу счастливых людей – по крайней мере, нам с Надеждой было хорошо.

Но счастье всегда недолго. Летом тридцать шестого в Испании начался фашистский мятеж, и уже к концу июля на фронтах Испании на одной стороне плечом к плечу воевали социалисты, коммунисты, анархисты – в общем антифашисты, на другой – фашисты. На стороне руководителя мятежников Франко были режимы Гитлера и Муссолини. Республиканцев поддерживали мы – Советский Союз. В испанском небе воевали и погибали летчики-антифашисты из разных стран. В августе тридцать шестого вместе с французами, итальянцами, голландцами на стороне Республики сражались советские летчики, а в конце сентября Коминтерн принял решение создать интернациональные бригады как форму организованного участия иностранных добровольцев-антифашистов в отпоре фашизму. Среди тех, кто поехал в Испанию, многие чтили Сталина и считали своим долгом выполнить его волю. Но было немало и антифашистов с либеральными взглядами, которые вовсе не почитали сталинский режим. Каковы были взгляды Тамбери, судить не могу: был слишком мал. Да и с Надеждой он об этом, наверно, не очень-то говорил. Их связывала теплота простых человеческих отношений. Но потому, что он не вернулся в Союз – а многие итальянцы вернулись, – могу судить, что не был приверженцем Сталина.

Более трех лет длилась гражданская война в Испании, окончившаяся поражением республиканцев. Франкистский режим утвердился и просуществовал до середины шестидесятых годов. Марио был послан – именно послан! – в Испанию в самом конце тридцать шестого, и вместе с ним на войну уехали все его друзья-итальянцы. Мы с Надеждой получили от него несколько открыток с дороги. Одна из Парижа с изображением Эйфелевой башни. Писал Марио на чудовищной смеси итальянского и русского и, когда началась лихая година – тридцать седьмой год, – Надежда всё уничтожила.

Марио был очень добрым и, видимо, привязался к нам, но страшный военный молох перемалывает всё. Он не вернулся, а итальянец, живший этажом выше, вернулся раненым и больным. Он и сказал, что Марио пропал без вести. Самого соседа тоже вскоре не стало. Только много позже мы с Надеждой поняли, куда он исчез... Мы считали Марио погибшим, но сомнения были. И вот, когда уже началась перестройка, я написал в мэрию города Ливорно. Ответ пришел через несколько месяцев. По-итальянски сообщали, что Марио умер в семиде-

сятые годы, а совсем недавно умер и его сын Ренцо. Зато живы два внука: Марко и Масимо. Сообщали их адреса. Я тут же написал им подробное письмо, объясняя, кто я. Послал ксерокопию фотографии, где мы втроем. Ответ пришел не скоро, но пришел. Письмо было написано по-русски. Объяснялось, что они, внуки, вместе со своим отцом Ренцо были шесть раз в Москве, пытались найти Надежду и меня – у них тоже была фотография, где мы втроем: они считали меня сыном Марио. Но всякий раз в адресном бюро им говорили, что женщина по имени Надежда Ивановна Тамбери в Москве не проживает. Мы же жили в пятистах метрах от Кремля. Органы бдили...

Не знаю, почему, но переписка с внуками Марио не состоялась, хотя я посылал им приглашение приехать: то ли они не захотели продолжения отношений, то ли опять вмешался злой рок в погонах.

Почему не вернулся Марио? Будучи, видимо, человеком неглупым, он очень скоро понял, что представлял собой тот, чью фигуру возводили в ореол святости. Франкисты, с которыми его послали воевать, во многом были неправы, но и республиканцы не были ангелами: грызлись как пауки в банке. Человек, к какому бы сословию ни принадлежал, а уж тем более к партии, – грешен, и все эти партии – не более чем отражение кастовости. Марио знал и чувствовал, что ждет его в Советском Союзе: посадят тут же. Вот и решил вернуться на родину, и она простила заблудшего сына. Так что умер он на своей земле, в свое время, в своей постели. А Ренцо искал нас с Надеждой потому, что считал меня единокровным братом. На брата ему, видимо, хотелось посмотреть. Так думаю. А там – кто его знает...

После отъезда Марио для нас с Надеждой потянулись «бедные» дни: ни пайков, ни денег. Надеждиной зарплаты медсестры едва хватало на скудный стол и квартплату, хотя и была она копеечной по сравнению с сегодняшним днем. Однако детские книжки она мне покупала: стоили они тогда недорого. Но самое главное: пользуясь тем, что Марио был политэмигрантом, добилась приема у Стасовой и устроила в детский сад, расположенный на нашей же улице. Стасова в те годы была секретарем МОПРа – международной организации помощи рабочим. В садик я пошел как Дима Тамбери.

* * *

В детстве был не последним человеком: во-первых, был грамотен, читал хорошо. Кроме книжек, особенно любил газеты. Во-вторых, был сильным. Руки имел крепкие, как у матери и у Надежды. Мог помериться силой – и мерился! – с любым мальчишкой. Никогда не был задирой и драчуном, но за себя всегда стоял. Из-за начитанности и знания «текущего момента» был признанным лидером. Однако, как же не хватало мне мужского внимания! И потому, когда – нечасто – заходил за мной в садик двоюродный брат Олег, был счастлив и горд безмерно. Олег уже служил срочную службу и носил красноармейскую форму. Утром, когда один шел в садик, обязательно отдавал честь постовому милиционеру: дядя Вася хорошо меня знал и улыбался. Был рад, когда приезжал и бывал дома сосед Иван Семенович Савченко – военный врач. Появлялся он дома редко, но, когда приезжал, тихонько стучал в нашу дверь и звал: «Дементий Епифаныч!..» Это он такое имя мне придумал. Я опрометью бежал на зов, радуясь встрече с человеком, от которого пахло кожаными ремнями и хорошим одеколоном. У Ивана Семеновича была дочка, чуть постарше меня, а ему, видно, нужен был, как и мне, мужчина, сын. Вот и теперь, когда смотрю на старые фотографии, вижу себя в фуражке, что подарил Иван Семенович, кительке, перешитом с его плеча, в ремне с кобурой, подаренными им же. В сороковом году Иван Семенович не вернулся из уже советской Риги. Сообщили, что умер от заворога кишок, но Надежда потихоньку говорила своим подругам: отравили...

В эти предвоенные годы Надежда официально усыновила меня: мать дала согласие. Таким образом, у меня оказалось две матери и... ни одного отца. Каждую из них любил по-

своему, но всем, что имел в детстве, обязан, конечно, Надежде. А потому уверен: не та мать, что родила, а та, что воспитала.

Предвоенное время помню осознанно и хорошо: всякое воскресенье мама Надя, несмотря на скудный бюджет, куда-то меня вела. Мы много ходили в зоопарк, в музеи, в Третьяковку, в детские театры. Безделья она не терпела и каждую минуту использовала, чтобы чему-то научить. Мама Тамара приезжала редко: не было у нее ни времени, ни денег. Старший брат Гена уже во время войны из пятого класса ушел в пастухи, бросил школу и доучивался в ремеслухе, а позже в техникуме.

Я очень любил ходить к бабушке, что жила, как уже говорил, в приживалках у дочери Сони. Бабушка была добрая и все сетовала, что не имеет денег, чтобы чем-то одарить внука. Советы не дали ей никакой пенсии, хотя воспитала пятерых детей. Тогда государство так поступало с большинством женщин: на производстве не работала, до революции содержала пансион для студентов. Вот и кукиш... Зять Гриша, родом из деревни, хоть и выучился на врача, но обращение имел, прямо сказать, свинское. Был страшно прижимист. В самый канун войны, не выдержав такого, бабушка уехала к дочери Нине в Одессу. Там и умерла в сорок третьем во время немецкой оккупации.

Мама Надя была строга и неукоснительна. Сама вставала в шесть утра, меня подымала в семь: над моим ухом звенел будильник. Она уходила на работу, а я умывался, одевался, закрывал дверь ключом, клал его в ящик кухонного стола и захлопывал дверь коммуналки. Я тоже, как и Надежда, шел на работу – в садик.

Перед войной летом ездили в Одессу и Днепропетровск к родным, а весной сорок первого впервые познакомился со старшим братом Сашей, который жил на Урале у родственников покойного отца.

Начало войны помню прекрасно. Надежда еще раньше стала уходить, еще позже возвращаться. Садик вывезли на дачу, но тут же вернули. Меня надо было куда-то устроить. Народ эвакуировался. Я попал на улицу Машкова к тетке Соне, которая не работала. Она не имела никакой специальности, но муж Гриша хорошо зарабатывал, служа врачом в тюрьме. У них была единственная дочь, старше меня на десять лет.

К августу сорок первого я сильно вытянулся, был худой, длинный и абсолютно самостоятельный. На улице Машкова была дворовая команда – шпана, пацаны. Они приняли меня в свои ряды. Чем занимались? Дел было много. Во-первых, Москву уже бомбили, и надо было собирать осколки. За сданный в специальный пункт металл давали какую-то плату, и она была ценностью: купил колечко Надежде. Она его очень берегла. Это были мои первые карманные деньги. Во-вторых, ходили в бомбоубежище рядом с Машковыми банями. В бомбоубежище было противно: люди сидели тоскливые, скучные, дети тоже молчали, но иногда тишину взрывал крик какого-нибудь малолетки. В сентябре школы не открыли, и я был свободен. Сказать, что загрустил – не могу. А в середине сентября на постой к Соне стали военные: среди них был родственник дяди Гриши. Наши тогда под Ельней разбили немцев, и военные приехали на два дня в Москву, чтобы закупить подарки для отличившихся. Как же был счастлив, когда военные приняли в свою компанию! Даже ездил с ними на машине по Москве, выбирая подарочные часы и портсигары.

Фашисты наступали. В Москве началась паника. Мама Надя совсем не приходила домой. Работала и в поликлинике, и в госпитале, где лежали раненые. Не случайно потом была награждена медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Уже после войны ее представляли и к ордену Ленина, но из-за фамилии «Тамбери» не дали. Я все время был у Сони. Шла тотальная эвакуация. Надежда решила отправить меня в интернат с детьми московских медиков. В самом начале октября был сформирован большой отряд. Командовали взрослые, чьи дети были тут же, в отряде. На речном вокзале нас посадили на пароход. Путь лежал по Волге в город Маркштадт – в уже ликвидированную республику

немцев Поволжья. Плыли более двух недель. Очень бомбили. Однажды чуть не пошли ко дну, но Бог миловал. Разместили в домах немцев, которых в сентябре выслали – как врагов – в Сибирь и Казахстан. Нас разделили на группы по возрасту и полу. Началась новая странная жизнь – без родителей, без близких. Дети были разные. Многие мальчишки писались. Их обмоченные матрасы сушили на печках. Вонь стояла невероятная!

Поначалу не голодали. На Новый год даже дали какие-то подарочки, но весной сорок второго, когда немцев отогнали от Москвы, почти все старшие – руководители – со своими детьми уехали, а нами стали командовать местные. Ту еду, что нам давали, они разворовывали, и мы, кроме крошечной порции баланды раз в день и кусочка хлеба, ничего не видели. Были страшно голодны, и звериные инстинкты тут же проснулись. Ходили учиться в обычную городскую школу и, конечно, отнимали еду у еще благополучных местных ребятишек. Голод делает человека зверем.

Все, абсолютно все обносились и завшивели. Бурки мои так порвались, что голой пяткой и носком ходил по снегу. Иногда мама Надя присылала на имя воспитательницы какие-то деньги. Тогда мчался на базар купить молока и тыквенного повидла: очень хотелось сладкого. Но главная задача состояла в том, чтобы не остаться без пайки хлеба: этот кусочек выдавали рано утром и на раздатчика набрасывались сворой. Чуть-чуть замешкаешься – останешься без пайки. Пайку надо было растянуть на день, но съедалась она тут же...

Учиться в первом и втором классах было нетрудно: прекрасно читал, азы арифметики тоже знал, а вот писал грязно. Никто на нашу учебу внимания не обращал: у взрослых свои проблемы, и лето сорок второго были предоставлены самим себе. Получив пайку, убегали на весь день из интерната в поисках хоть какой-то пищи. Лазали, где хотели, и однажды попали на баржу, забитую снарядами. Снаряды были гладкие, блестящие и, прихватив несколько – они были тяжелые, – побежали домой, в интернат. Если бы ни невесть откуда-то взявшийся охранник, не писал бы эти строчки. Он заставил потихоньку отнести снаряды и положить на место. Не бил, но очень ругался, попутно объясняя, что это за «игрушки». С тех пор запомнил: подходить к взрывоопасным предметам и брать в руки – смертельно.

Вторая зима и учеба во втором классе запомнились только голодом. А еще довоенными кинокартинами в старой кирхе. По многу раз смотрели одни и те же фильмы.

Надежда приехала за мной только в августе сорок третьего. Как добралась – один Бог знает. Я был счастлив: кончалась бездомная жизнь. К этому времени меня уже перевели в местный детдом, где стало намного лучше: в детдоме были порядок, дисциплина и хоть какая-то еда. Но была и ежедневная работа: сажали, пололи, ухаживали за посевами, а главное – собирали лекарственные травы, главным образом полынь. Руки становились очень горькими, но какое это имело значение, если за собранные мешки травы давали по два блина. Блины – от рук – тоже были горькими.

Жестокий стоматит не миновал и меня. С высокой температурой положили в маленький стационар и какое же было счастье, когда вечером мы – несколько больных детей – выстраивались в очередь к корове. Кружка для парного молока была наготове. Корова была ласковая.

* * *

В середине августа, как уже говорил, мама Надя меня забрала. Добирались с приключениями, но первого сентября пошел в третий класс школы № 64, что была прямо напротив окна нашей комнаты. Школа была знаменитая.

В начале октября – однажды – вдруг жуткая боль пронзила всё в животе. Мама Надя была на работе. Пожаловался соседке. Она принесла грелку. Боль еще усилилась, стала невыносимой. Соседка вызвала «скорую». Не писал бы эти строчки, если бы не оперативная помощь врачей: обнаружили гнойный аппендицит, который должен был вот-вот прорваться. Запомнил

операционную, хлороформ, полный провал сознания, потом палату. Ни рукой, ни ногой не мог пошевелить, но на поправку пошел быстро, хотя провалялся больше месяца. Безделье нравилось: кормили, поили, можно было читать книжки, но когда явился в класс, увидел, что безнадежно отстал. В арифметике, особенно в дробях, ничего не понимал. Классная руководительница сказала, что будет переводить классом ниже. Мама Надя очень расстроилась, даже расплакалась, что случалось с ней крайне редко, и стала упрашивать, чтобы этого не делали, пообещав, что все наверстаю. Помог сосед Женя Расс, который был старше меня на несколько лет и о котором еще расскажу.

На троечки и четверки окончил третий класс, но в четвертом школа от меня, как от многих других слабаков, отказалась. В Серебряном переулке Арбата открылась новая школа, где собралась вся арбатская шпана. Шпана была отпетая. Я не был шпаной, но был безотцовщиной, играл в пристенок, чтобы заработать хоть немного денег. Что такое игра в пристенок, не буду объяснять: кому интересно, пусть прочитает рассказ Распутина «Уроки французского».

Учился старательно: очень хотелось вылезти в «хорошисты». Кроме того, приняли в пионеры – надо было оправдывать доверие. Правда, пионерский галстук носил только в школе. За воротами тут же снимал: не мог же ехать на троллейбусной колбасе в галстук...

Учился во вторую смену, но время до школы было расписано по минутам: в семь тридцать обязательно должен был быть у магазина в очереди за хлебом. Отоваривание карточек лежало на мне. Если моя и Надеждина пайки оказывались с довесками, они были моими. Медленно, по крохотному кусочку съедал их по дороге. Кроме отоваривания карточек, каждодневным делом стала мелкая спекуляция. На деньги, выигранные накануне в пристенок, утром покупал в кинотеатре «Художественный», что на Арбатской площади, два билета на вечерний сеанс. Возвращаясь из школы, продавал эти билеты за двойную цену какой-нибудь парочке. Оставались деньги на дневной билет себе и на мороженое: больше ничего без карточек купить было невозможно. Иногда этот «бизнес» заставлял прогуливать уроки, но жить и крутиться нужно было. Разве в пионерском галстук мог обдeldывать такие делишки? Галстук был глубоко в кармане.

Мать Надежда, конечно же, ничего не знала об этой моей второй жизни. Когда поздно вечером возвращалась домой, я был примерным мальчиком, читающим книжку либо играющим с Женей Расс в шахматы. Рассы жили под нами, на втором этаже и две их комнаты принадлежали им и только им: дед и бабка Жени были врачами и имели частную практику. В одной комнате они жили впятером, в другой был врачебный кабинет. Адель Абрамовна была стоматологом, Самуил Моисеевич – «ушным» доктором. Видимо, они были хорошими врачами, потому что народу к ним ходило много. Когда у меня болели уши или зубы, лечили абсолютно бесплатно и без особой боли.

После войны, когда началась кампания сорок восьмого года против евреев, по навету соседей, завидующим им, их обоих арестовали: якобы нелегально доставали золото. Кабинет, конечно, отобрали. Сидели старики не очень долго – их выслали в Казахстан, в Кзыл-Орду. Когда еврейско-врачебная волна схлынула, разрешили вернуться, но вернулись их тени... Самуил Моисеевич вскоре умер, а Адель Абрамовна превратилась в маленькую скрюченную старушку, задыхающуюся от астмы. Когда стал взрослым и курящим, она приходила ко мне за папироской: ей, курившей всю жизнь, родные не разрешали – из-за здоровья. Она уже не выходила из дома и денег своих у нее не было.

До трагических событий сорок восьмого года Рассы материально жили хорошо, и мама Надя частенько одалживала у них деньги. Когда я приходил к Жене, меня обязательно чем-нибудь угощали. У них впервые увидел и попробовал ливерную колбасу: Надежда никогда не покупала никаких колбас. Если была возможность – кусочек мяса: из него выходили и суп, и второе. Однажды тоже решил угостить Женю: поджарил на рыбьем жире картошку.

Жир покупали в аптеке. Он стоил копейки. Женя побежал в туалет – его вырвало. Я же спокойно съел всю картошку.

Четвертый класс закончил четверочником и был доволен. Только одно обстоятельство ущемляло: ребята, у которых на фронте были отцы, – да еще офицеры! – очень гордились, иногда даже выпендривались. Носили кожаные полевые сумки, присланные с фронта, а не противогазные, в которых мы таскали свои тетрадки и книги. Было обидно... В конце четвертого класса записался в детский отдел Ленинской библиотеки: она была рядом. Как равноправный, законный читатель, приходил в нее очень часто. В библиотеке познакомился с Вале́й Петерсом. Они с сестрой и матерью жили по соседству в маленькой келье бывшего Крестовоздвиженского монастыря. В келье жили не всегда: раньше их квартира была в доме для политэмигрантов, но, когда отца – латышского коммуниста – посадили, им пришлось переехать. Валя был очень начитанным, умным, спокойным. С ним было интересно. Ездил – не часто – на Машкову улицу. Дворовая команда распалась. Встречался там с Колей Агаповым, вместе с которым был в эвакуации. Коля жил с сестрой и матерью в комнате с большим итальянским окном. Раньше вся квартира принадлежала им, но отца арестовали и им оставили одну комнату. Мама Коли была учительницей музыки, к ней приходили ученики.

Летом сорок пятого – война уже кончилась – Надежде удалось отправить меня в пионерский лагерь. Был доволен: там неплохо кормили. Но однажды в «родительский» день, когда вместе со всеми ждал приезда матери, увидел ее и испугался: она шла позади всех – тащилась. На фоне других выглядела совсем старухой... Ей было пятьдесят девять, но она была измощена непосильной работой и годилась мне в бабки. Сердце мое зануло.

Пятый класс «ознаменовал» продолжением «бизнеса»: киношные билеты. В Москве, хоть и были еще карточки, появлялось все больше и больше соблазнов. В Военторге уже был коммерческий отдел, где можно было без карточек купить многое. Цены, правда, были заоблачные!.. Однажды маме Наде позвонили на работу и сказали, сколько у меня пропусков. Вечером был разговор «со слезами». Я дал обещание больше не пропускать школу, но совсем отказаться от «бизнеса» не мог: ведь необходимы были хоть какие-то карманные деньги.

Мальчику очень нужен отец. Вот потому, когда после войны у нас поселился двоюродный брат Толя, был очень доволен. Надежда ворчала: в одиннадцатиметровке мужчина под два метра занимал слишком много места. Толя не был на фронте: как инженер, вместе с Химкинским авиазаводом находился в эвакуации в Ташкенте. Завод вернулся в Химки, а жилье кто-то занял. Я много получил от него: по возрасту он годился мне в отцы. Толя был болельщиком футбольной команды ЦДКА – это теперешний ЦСКА. Если брал с собой на «Динамо», билеты были обеспечены: Толя хорошо зарабатывал. Когда ему дали жилье, я, приобщенный к спорту, болел за ЦДКА уже один. Чтобы попасть на стадион, мы, безденежная шантрапа, перелезали через высокий забор, а потом собирали толпу человек в пятьдесят и силой продавливались сквозь заградительный кордон у входа. Билетерши нас боялись и особо не препятствовали, хотя для порядка свистели и звали милицию. Уверен, у них были такие же сыновья, и они нам сочувствовали. Пробившись на стадион, «просачивались», рассредотачивались, старались стать невидимыми.

Многому научил меня Толя: обращать внимание на красивые женские ноги, аккуратно одеваться, хорошо писать. Я старался. Хотя в математике тянул всего на тройку-четверку, в гуманитарном отношении был подкован: именно в пятом классе впервые прочитал «Войну и мир», правда, опуская философские рассуждения.

В каникулы Надежда отправила меня к маме Тамаре в Пахру. Добираться было сложно. От Калужской площади ходил старенький автобус, но от автобуса километров десять надо было топтать пешком. Однако это были сушие пустыки по сравнению с расстоянием от Пахры до Подольска: здесь надо было пройти восемнадцать километров. А ходили деревенские ребята в Подольск продавать цветы, которых в полях, окружавших Пахру, было невероятно много.

Полно было ягод и грибов. Все собранное несли в Подольск: только там на рынке можно было продать. Продавали за копейки, но на хлеб зарабатывали, а есть все время хотелось. После удачного «базарного дня» с удовольствием уминали хлеб иногда с грачиным супчиком. Не считите извергом, но грачиные гнезда разоряли вместе с братом Геней. Местные, пахорские, у которых было хозяйство, иногда предлагали накормить картошкой с салом, только чтобы гнезд не трогали. Случалось это крайне редко, а есть хотелось каждый день.

Я уже говорил, что мать Тамара была бедна как церковная крыса. Не было у нее никакой опоры, кроме крошечной сберкассовской зарплаты. За многочасовую работу получала так же мало, как и мама Надя за сестринский труд. Всегда, всегда у нас в стране тот, кто больше трудится, тот и больше обижен. А потому счастьем было, когда однажды с Геней нашли в кустах потерянное гусыней яйцо. Оно было большое и сытное. Поесть хорошего супа удавалось и после удачной рыбалки. Рыбу ловили на хлебный мякиш, смешанный с сухой борной кислотой. Рыба травилась борной и тут же всплывала кверху брюхом.

Хотя летом и крутился возле реки, плавать по-настоящему не научился. Пахорские ребята поддразнивали. А еще смеялись надо мной, что плохо ходил босым: ботинки не носили, берегли к школе. У меня сильное плоскостопие, и я до сих пор хожу босиком с трудом.

* * *

В октябре сорок четвертого – был еще в четвертом классе – случилась беда: кто-то положил глаз на нашу с Надеждой одиннадцатиметровку. Маму Надю вызвали в милицию, отобрали паспорт и карточки, сказали, чтобы немедленно готовилась к высылке в Новосибирскую область. Почему, за что, конечно, никто не объяснял. Мать со слезами вернулась домой, а вечером пошла к соседу – Николаю Николаевичу Розанову, который служил в МУРе – московском уголовном розыске. Розанов велел никуда не выходить из дома, позвонить на работу, сказать себя больной, а меня назавтра же отправил в приемную Калинина, что находилась наискосок от библиотеки Ленина. Калинин был председателем Верховного Совета СССР и формальным главой государства. Настоящим главой был, конечно же, Сталин.

Мне было одиннадцать, росточком был невелик, и чиновник, принявший меня, видно, проникся жалостью, сразу поняв происки кого-то неизвестного. Дал записку к Кирпичеву в НКВД на Лубянке. У Кирпичева был народ – очередь, но, видно, опять же из-за малолетства меня пропустили. Рассказал все про мать, про себя, и Кирпичев послал к Грачеву в отдел НКВД, что был уже на улице Герцена. К Грачеву пошли на следующий день вместе с Надеждой. Грачев написал бумагу. И маме Наде вернули паспорт и карточки. Став взрослым, много думал об этом. Всё просто: поскольку в государстве законы не соблюдались, был произвол. Видимо, зацепившись за фамилию «Тамбери», маму Надю решили сослать как «иностранку»: это было абсолютно в духе времени. А комната наша кому-то была очень нужна.

Прежде чем перейти к совершенно иному куску своей жизни, вспомню еще раз коммуналку. В квартире жило шесть семей. Конечно, размолвки, ворчания были, но крика или драк – никогда. Умели находить понимание, идти на компромисс. У нас была большая прихожая и иногда она превращалась в хоккейное поле. Коля Розанов и Коля Куртев ставили меня «на ворота», и, когда мяч больно ударял, я начинал реветь. Тут же выскакивала Инна Савченко, дочка Ивана Семеновича, военного врача, о котором уже говорил, и, схватив меня, забирала к себе в комнату. Заводила патефон – он был у них еще до войны, кормила конфетами. Это было счастливое довоенное время.

В войну мама Надя спасла комнату – тридцать метров – Куртевым: в нее уже вселили новых жильцов. Куртевы были в эвакуации. Получив от матери несколько телеграмм, они, все бросив в Ярославле, где тогда находились, и только схватив двух маленьких детей, тут же

вернулись в Москву – отстаивать жилье. Отстояли. То есть чужие по существу люди, как могли, помогали друг другу, жалели, солидаризировались, становились просто родными. А сейчас?

Я крещеный. Крещен собственным дедом, ибо дед был священником. Крещен в полном смысле за печкой, потому как в тридцать третьем, когда родился, дед уже был лишен сана, а сана его лишила тогдашняя власть. Советская власть расправлялась с попами и буржуями, то есть с теми, кого причисляла к буржуям, нещадно. Не зря же пели: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем...» И раздували.

Дед мой, Геннадий Кузьмич, или отец Геннадий, был священником из крестьян. В 1892 году окончил Тобольскую духовную семинарию, служил в разных приходах Челябинской губернии, преподавал в епархиальном училище, в монастырской школе, в Александровском женском приходском училище Троицка. Последняя его должность – помощник благотворительного.

В 1995 году, когда стало возможно, когда знакомые гэбэшники пообещали посодержать, поехал в Челябинск и Троицк, чтобы на месте ознакомиться с расстрельным делом деда. Его расстреляли в Троицке во дворе НКВД 16 ноября 1937 года в шесть часов тридцать минут вечера. За что? Как записано в деле, «за активное участие в деятельности контрреволюционного повстанческого штаба духовенства и церковников в г. Троицке». Осудили «тройкой» по статье 58¹¹ – была тогда такая статья в уголовном кодексе. Обвиняли еще и в участии в молебне в честь освобождения города белогвардейцами во время гражданской войны. Часто задавал и задаю себе вопрос: было ли это? Так ли уж лез дед в политику? Думаю, исходя из того, что о нем рассказывали люди, его знавшие, ни за что его уничтожили. Скорей всего, был донос, ну а, может, действительно, выступил «супротив»...

Опять же из дела узнал, что когда арестовывали, конфисковали и имущество, заключавшееся в десяти фотографиях, семи похвальных листах за непорочную службу и двадцати книгах. В числе книг была изъята брошюра епископа Брауна «Коммунизм и крестьянство». До семнадцатого года дед имел корову и лошадь. К тридцать седьмому от имущества и духу ничего не осталось. Жил на квартире прихожанки. К моменту ареста был вдов: матушка Анна Васильевна умерла, детей своих – моего отца и дочь – дед при аресте не назвал: умница был, всё худое предвидел.

Был дед, действительно, умным человеком – священником-обновленцем, считавшим, что и религия должна идти вслед за идущим вперед временем. С записью следователя в последнем протоколе: «Записано с моих слов верно, мне зачитано, в чем и подписуюсь» не согласился, а лишь собственноручно написал: «Настоящий протокол мною прочитан». Однако хлопнули его все равно: такие тогда были времена... Ему было шестьдесят пять лет и расстреляли его не за разбой, убийство или еще какой-либо тяжкий грех, а за верность религии. Что же такое религия и почему тогда за нее расстреливали?

Самое болезненное чувство для человека – чувство его конечности, сознание того, что он когда-нибудь умрет. Если бы человек не умирал, если бы не было смерти, не было бы и религии.

Истинная религиозность – полная благодать, человечность, кротость, милосердие. Она полна всепрощения и не вредит никому. Религия есть сон человеческого духа, но и во сне мы находимся не на небе, а на земле – в царстве действительности, только видим действительные предметы не в реальном свете, а – иногда – в каком-то чарующем произвольном блеске воображения.

Когда сейчас думаю о роли религии и анализирую ее историю, прихожу к выводу: к сожалению, всегда, всюду она раздувала пламя нетерпимости, устилала землю трупами, поила землю кровью, сжигала города, опустошала государства. И никогда не делала людей лучше. Добродетель людей есть дело общества и действующего в нем закона. Религия же всегда возникала во тьме невежества, нищеты и беспомощности, в условиях, при которых сила воображения господствует над всеми другими.

А вера – есть всегда вера в чудо. Вера и чудо абсолютно нераздельны. Мне кажется, люди часто притворяются верующими, а на самом деле ни во что не верят. Если же это так, то именем Бога они могут совершать – и совершают! – любые преступления. А самое страшное – когда человек берется за ремесло священника ради наживы. Нет ничего разрушительней и безнравственней.

Что такое Бог? Думаю, это императивная внутренняя причина всех вещей, всего сущего, а не сила, действующая извне. Все атрибуты Бога вечны, и его существование, его сущность – одно и то же. Бог не есть человек. Бог – нечто бесконечное. Человек конечен. Бог вечен. Бог – нечто совершенное. Человек несовершенен. Человек смертен. Бог всемогущ. Человек бессилен. Бог свят. Человек греховен. Бог и человек – крайности мира. Человек одинок перед лицом Бога. Тут не спрячешься за спину партии, нации, государства. Тут не скажешь: «мы». Тут – всегда только «я»...

Любую религию терзают атеизм и фанатизм. Но атеист в своем сознании сохраняет разум. Фанатик же одержим безумием, которое заставляет его идти на всё. Атеизм отрицает существование, отвлеченное от человека, которое называют Богом, и ставит на его место человека. Атеизм возвращает природе и человечеству то значение, то достоинство, которое отнял у них теизм. Научный и религиозный типы мышления в основе своей непримиримы, но научный тип может привести мыслителя к Богу, а вот религиозный всегда будет удерживать человека в рабстве. И не у Бога, а у жреческой касты. Уверен, теократические государства ничуть не лучше атеистических, как и воинствующая религиозность ничем не лучше воинствующего атеизма. Но если у человека нет искренней нужды в религии, его не надо к ней привязывать. Лучше быть просто хорошим человеком. Если слишком привязан к религии, рискуешь превратиться в религиозного фанатика, а фанатизм, фундаментализм, как все чрезмерное, ведут к саморазрушению.

В последние годы четко прослеживается взаимопроникновение политических структур и церкви: слишком много развелось «верующих» среди руководства. А на причину этого указал еще святой Августин более полутора тысяч лет назад: «Едва лишь принадлежность к церкви христианской сделалась полезной для положения человека в государстве, как многие недобросовестные бросились к святой купели...»

Рассказывая о деде, попутно не обошел своих взглядов на религию, но сказанное вовсе не означает, что я, как Владимир Ильич Ленин, считал и считаю, что с религией надо бороться, а уже тем более за нее расстреливать. У человека должна, должна быть свобода выбора...

* * *

Весной сорок шестого мне исполнилось тринадцать. Я окончил пятый класс. Отметки были не блестящие, но тройка, помнится, была всего одна. Моя «частная» жизнь продолжалась: по-прежнему занимался билетным «бизнесом». Появились еще «книжные» дела: покупал дефицитные детские книжки и перепродавал их на центральном рынке. Там почему-то они шли хорошо. Мое бизнесменство очень тревожило Надежду: она была в отчаянии. И тут, как всегда, вмешался Его Величество случай. Двоюродный брат Толя, о котором уже говорил, был красивым мужчиной, а посему пользовался вниманием женщин. Одной из его подруг в Ташкенте, где работал на авиационном заводе, была Антонина Порфирьевна Завьялова – врач, вдова, чуть старше его возрастом. Была она одинока, имела сына-подростка и возглавляла поликлинику. Женщина – умная и деятельная. Связи ее в городе были обширны. Она несколько раз приезжала в Москву в командировки и останавливалась у нас. Мама Надя поделилась с нею своей тревогой. Антонина Порфирьевна тут же сказала: «Ташкент, суворовское училище». Мы начали выправлять мои документы: ведь я, как и Надежда, носил фамилию

Тамбери. С такой фамилией соваться в суворовское было невозможно. Надежда взяла мою метрику и выправила фамилию на фактическую.

В середине июля сорок шестого – мама Надя взяла очередной отпуск – отправились в Ташкент. Шесть дней дороги прошли нелегко: было очень жарко. Хотя из еды был только хлеб, но и его не ели: мучила жажда. Окна в вагоне открыты, тепловозов и электрической тяги тогда еще не было, а потому к концу шестых суток превратились в чернокожих: были очень грязны и голодны.

Антонина Порфирьевна встретила нас с «выездом»: в плетеную кошеву на четыре места была впряжена красивая лошадь. На козлах сидел кучер. У нее дома – небольшой чистой комнате – ждал плов. Как следует вымывшись под дворовым душем, набросились на еду и через несколько часов пришлось расплачиваться: жестокий понос мучил несколько дней.

Но город сразу очаровал – прежде всего яркостью красок: такого синего неба не видел никогда и нигде. О таком базаре читал только в сказках «Тысяча и одна ночь». Одежда людей, особенно узбеков, тоже была яркой, хоть и небогатой. После московских серых красок это было пиршество.

Состояние на третий день пришло в норму. Уже не боялись есть все, что предлагали. Недостатка во фруктах и овощах не было. Хлеба тоже достаточно. Антонина Порфирьевна порекомендовала Надежде поработать сестрой в детском санатории: нам дали маленькую комнату и «поставили на довольствие». Часто вечерами казалось, что попали в рай. Конечно, конечно, за забором санатория шла всякая жизнь, порой очень жестокая, но нам тогда выпали недели благодати.

В середине августа два дня сдавал вступительные экзамены. Прошел собеседование. Был зачислен в шестой класс Ташкентского суворовского училища войск МВД. Мало сказать – был рад. Был счастлив, полон предстоящей новой жизнью, а потому отъезд Надежды пережил спокойно: без слез. Встреча должна была состояться лишь через год.

Училище занимало большую территорию: здесь когда-то стояла кавалерийская часть. Было чисто и спокойно. Несмотря на значительное количество подростков, собранных в одном месте, никто не бегал, не орал, не выкобенивался. Во-первых, этого не позволили бы, во-вторых, дети, подростки, тогда были другими: орать просто так считалось идиотством. Сумасшедшим никто не хотел быть.

Нам выдали по два комплекта формы: хэбэшные брюки и гимнастерку для каждого дня, черные мундирчики и брюки с голубыми погонами и широкими лампасами, как у генералов, – для выхода в город. Все было чистое, новое, хорошо пригнанное. За внешним видом и поведением следили офицеры-воспитатели и сержанты. Начальником училища был старый – так нам тогда казалось – полковник, когда-то сам окончивший кадетский корпус. Все сержанты и офицеры-воспитатели – бывшие фронтовики. Когда они надевали кителя с наградами, мы ими страшно гордились. По крайней мере, я испытывал чувство восхищения.

Из кого набирали суворовцев? В основном, это были дети сотрудников МВД. Но многие, как и я, были без отцов. Некоторые ребята во время войны не учились и по возрасту не соответствовали классу, в который попали. Были среди нас и участники боевых действий, имевшие награды. Шел сорок шестой год – первый послевоенный. Ребята были тихи и сосредоточены. Почти у каждого в прошлом была тяжелая жизнь.

Сейчас, когда пишу эти строки, думаю, что же дало мне училище? Прежде всего – знания. У нас были хорошие учителя. Почти все. Помню учителя математики в шестом и седьмом классах. Фамилия его была Попович. Обрусевший серб – он хорошо говорил по-русски. Высокий, худой, лысый старик учил нас таким премудростям, которым сам научился в гимназии: мы прекрасно считали в уме. Его приемы устного счета помню до сих пор.

В шестом-седьмом классах была и замечательная учительница истории – к сожалению, забыл ее фамилию. Она, видимо, любила детей и жалела нас: ведь мы росли без родителей.

Чтобы развлечь, увлечь чем-то – телевизоров, видео и прочего не было и в помине – она уводила нас недалеко – в парк Кафанова – «Кафанчик» и подолгу, сидя на лужайке, читала Вальтера Скотта и Дюма. Мы слушали, затаив дыхание. Уже учась в Казанском военном училище в Елабуге, когда пришло время вступать кандидатом в партию, написал и попросил у нее рекомендацию. Она тут же прислала.

Любили очень учителя литературы Старцева. Ему – с нашей точки зрения – было много лет: наверно, шестьдесят. Но он так захватывающе рассказывал, что учебник читать не хотелось. Потому, как студенты, записывали за ним, и эти записи я долго хранил. Старцев часто болел и не мог быстро проверять сочинения, которые мы ждали с нетерпением. Замечания, которые делал в наших работах, были справедливы и тактичны. Вскоре после нашего выпуска он умер.

Уже будучи «большими мужиками», любовались своей географичкой – Галиной Михайловной Радионовой, которая была старше нас лет на десять. Родовались, когда ей присвоили звание заслуженного учителя республики.

Учителя тоже носили форму, но звания у них были небольшие: выслуги-то не было. Поэтому было немного смешно смотреть на пожилого человека в лейтенантских погонах.

Кроме ежедневных шести часов занятий в классе, три часа – обязательная самоподготовка. Это время соблюдалось железно: если заканчивал раньше, не смел уходить из класса и бежать во двор. Можно было сидеть и читать. Количество и качество занятий давало результаты: отстававшие достаточно быстро выправлялись. С гуманитарными предметами у меня было всегда хорошо, а вот над математикой приходилось попотеть.

Училищу обязан дисциплинированностью, четкостью, аккуратностью. Хотя все это требовалось неукоснительно, никогда не слышал жалоб, что старшие не так с кем-то обошлись. Требования были справедливы, и ни о какой дедовщине и речи не шло. Даже слова такого тогда не было. В учебу, в несение службы, в спорт, в хозяйственную работу, в другие дела – а дела были самыми разнообразными – привносилась какая-то соревновательность: хотелось все сделать как можно лучше. Причем, соревновательность была не жестокой, не подлой.

Суворовскому обязан здоровьем. И если сейчас, на склоне лет, мучают болячки, они – результат последующей жизни и работы. В молодости был здоров. Режим дня, спорт, хорошее питание – все шло на пользу. Начисто забыл бесконечное чувство голода. На белых скатертях с салфетками, которые закладывали за ворот гимнастерки или мундира, мы совершали трапезу. Нам подавали даже яблоки. Но... как всегда, чего-то не хватало. А потому тайно – через лаз в заборе – отряжали кого-нибудь на ближайший базарчик за виноградом. Бежавший, конечно, снимал погоны и не надевал головного убора. Что такое узбекский виноград, особенно «дамские пальчики», – надо попробовать!.. И сейчас не могу есть другого. Деньги некоторым ребятам присылали: у кого были отцы и работали.

По-настоящему занимались спортом. Я был середнячком, но все равно имел спортивные разряды по бегу и стрельбе. Были среди нас просто первоклассные спортсмены.

Суворовское научило жить в коллективе. И раньше – в интернате, детдоме, в эвакуации – многое понял, но там были зверятами: кто скорее схватит пайку. Здесь, когда всем всего хватало, мы старались быть джентльменами в полном смысле слова. Попробовал бы кто-нибудь съесть «под одеялом» присланную из дома посылку!.. Все выкладывалось на стол. Всех приглашали испробовать гостинцы.

Суворовское без пышных слов учило любить государство, родину. Нахлебавшись, как следует, в своей прежней жизни, понимали, что дает страна. Отсюда вывод: патриотизм на голодном, грязном, воровском месте не воспитаешь.

Суворовское образовывало и в смысле культуры: достаточно часто водили в театр, причем, оперный. Фильмы «крутили» каждую неделю, учили бальным танцам. В старших классах не меньше, чем раз в месяц, могли продемонстрировать свое умение танцевать на вече-

рах-балах, куда можно было пригласить девочек из подшефной школы. Девчонки охотно приходили: кавалеры мы были галантные.

Была и прекрасная библиотека, в которой собирали всю современную литературу. Кто хотел, тот читал. Глаза надорвал тогда: почувствовал, что нужны очки, но боялся признаться. Очки носить было непрестижно. Да никто их и не носил.

Суворовское научило дружить, не обращая внимания на национальность. Все пять лет просидел за одной партой с киргизом Юлбарсом Мирзопоязовым, который до училища жил в старом городе Ташкента, в глинобитном домике с двумя маленькими сестренками. Отец погиб на фронте, мать умерла, и Юлбарс один содержал себя и маленьких сестричек – за счет сада. Когда ушел в суворовское, в их доме стали жить дальние родственники. Однажды попали в историю. Его родственница, желая угостить, налила из чайника браги. Мы опьянели и легли спать. Просили разбудить. Не понимающая дисциплины Айша не разбудила, а когда проснулись, был уже двенадцатый час ночи. На последнем трамвае, полусонные добрались до училища и предстали перед дежурным офицером: шнурки на ботинках были развязаны. Это был высший беспорядок, просто позор. Нас отправили спать, а на утро перед строем выдали по полной. Но наказывать – сажать в карцер – не стали. Видно пожалели, так как случилось это в первый раз.

Интернационализм, присущий тогда людям, был свойственен и нашему узкому миру. Поэтому страшным потрясением было убийство и самоубийство одного из руководителей училища, уважаемого боевого офицера, еврея по национальности. Предвидя арест в связи с начатой антиеврейской кампанией, он застрелил всех членов своей семьи и себя. Об этом говорили шепотком. Было страшно и непонятно...

Суворовское учило преодолевать трудности. В пятнадцать лет выдали настоящее боевое оружие – карабины, хотя и без патронов. Так как климат позволял, часто ходили в походы – в горы. Идти с полной выкладкой было не просто. Как и всех школьников Союза, посылали на сельхозработы: убирать хлопок. Возвращались с руками, исколотыми так, что притронуться было невозможно.

Каждый год на июль-август уезжали домой на каникулы. Из Ташкента ехали по-барски: все имели по отдельной полке. Обратный же путь был много скуднее: в солдатском вагоне. Это значило: кто что захватит. Взрослые солдаты оставляли нам места под нижней полкой, на полу. Было грязно, неудобно, но все равно весело.

Много позже, анализируя суворовское отрочество и юность, пришел к выводу: несмотря на все положительное, закрытая система, в которой рос, все-таки сделала меня замкнутым, стеснительным, натянутым как струна. Я не мог, как сегодняшние юноши, быть раскованным, «душой общества». Был робок с девочками. Так что у всякой медали всегда две стороны...

* * *

Летом пятьдесят первого – мне только исполнилось восемнадцать – окончил училище с серебряной медалью. Еще заканчивая суворовское, мы с Юрой Лазаревым мечтали попасть в Ленинградское высшее военно-морское училище МГБ СССР. По святой наивности написали товарищу Сталину: ведь он был – так нам внушали – защитой всем детям, молодым и вообще всем людям СССР. Так пелось в песнях, говорилось в стихах. Конечно же, получили отлуп. В бумаге указывалось: МГБ и МВД – разные ведомства, а потому... Другие ребята, у которых были отцы и которые подсуетились, поехали учиться в самые разные места. Нас же – шестнадцать человек «бесхозных» – отправили в Татарию, в Елабугу, до которой не было даже железной дороги и, кстати, нет и теперь. В Елабуге было военно-политическое училище МВД. После его окончания можно было стать не командиром взвода, а заместителем командира роты

по политчасти. Это уже повыше. Политическая подготовка не вызывала отторжения: я ведь был гуманитарием.

От Казани до Елабуги добирались на пароходе полтора суток, хотя теперь этот путь автобусом можно проделать за три часа. Городок встретил всею своей глухой провинциальностью. Тогда – да и теперь! – это была провинция, хотя до революции здесь размещался довольно большой центр купечества, а потому – множество церквей. Церкви при Советах были закрыты. Раньше сюда уже из самой-самой глубинки везли всевозможные товары, что производил русский крестьянин. По Каме и Волге товары сплавлялись в Казань, а там – по всей России. В городе жили не только купцы, но и художники, например, Шишкин. Места были удивительно красивые.

Училище, куда приехали, «отхватило» самую лучшую – центральную – часть города и огородило ее забором. На территории были аж три церкви, а казарма наша размещалась в бывшем хлебном лабазе. Были и жилые дома – в прошлом купеческие. Строения кирпичные, добротные.

По прибытию в Елабугу всех «провели» через медицинскую и мандатную комиссии, на которых лично мне сказали, что могу списаться на гражданку, так как близорук. Комиссоваться не стал: что было делать в Москве в октябре, когда прием в институты закончился? На что жить? Профессии никакой. Надежда не могла кормить меня и одевать. В этом отношении положение было хуже любого пэтэушника: тот хоть имел специальность. И я покатился по накатанной колее: проносил погоны – вместе с суворовскими – пятьдесят четыре года...

Учеба и служба в Елабуге – по сравнению с Ташкентом – оказались тяжелыми. Во-первых, морозы под сорок. Зимой хоть и были одеты в полушубки и валенки, промерзали до костей: не менее шести часов, когда шли тактические или другие полевые занятия, приходилось быть на улице. Еще и караульная служба, дежурства на вышке. Дело в том, что на территории училища находилась обыкновенная колония, где отбывали наказание заключенные с небольшими сроками. Они производили различные хозяйственные работы. Их охрана лежала на нас: это была наша практика. Зэки были «хорошие»: они даже будили нас, часовых: бросали камушек или снежок, когда, задремывая на вышке, не ожидали проверяющих. Случалось это глубокой ночью: зэки выходили на улицу по нужде.

Нашими непосредственными начальниками – командирами отделений – были курсанты из числа старослужащих. Никакой дедовщины и в помине не было. Иногда с их стороны случались несправедливости, но в основном все происходило достаточно корректно. А дело в том, что в те, пятидесятые, служба в армии была престижной: через армию люди делали карьеру. Став офицером, можно было неплохо обеспечить семью, и тот же сержант дорожил местом службы и ничего идиотского не мог себе позволить.

Дисциплина в училище была жесткая, но, как уже сказал, справедливая. Бытовые условия, конечно же, тяжелые. Чтобы умыться, дежурным следовало натаскать из колонки воды, а на улице – минус сорок. Надо было напилить и нарубить дров, истопить печи. «До ветра» бежали на «край земли». По сравнению с суворовским – «жесткая» кормежка: почти весь год – солонина, соленая треска из бочек, картошка, винегрет. В обед давали щи, но опять же с солониной. Объясняю тем, кто не знает, что такое солонина: это свиное мясо вместе с салом, засоленное в бочках. Из-за обилия соли мясо с салом становилось горьким. Утром, как лакомство, давали граммов двадцать сливочного масла. Но... голодными все же не были. Когда солонина не лезла в глотку, нажимали на хлеб. Хлеб – черный – был в достатке.

Тяжело было от бесконечных кроссов от десяти до тридцати и более километров. Их проводили каждую неделю, в воскресенье. Зимой – на лыжах. Бегали с полной выкладкой: винтовкой, противогазом, летом со скаткой. Никто не отлынивал, потому как если в этот день действительно болел и оставался в казарме, лишался увольнительной, которую давали только

после кросса. Кажется, откуда брались силы? А вот брались... Были молоды. Но на безобразия в увольнении сил уже не хватало, да и за малейшее происшествие грозило отчисление.

Нам платили маленькие деньги – пятьдесят-семьдесят рублей в месяц в старом исчислении. Этого хватало на зубной порошок, туалетное мыло, дешевый одеколон и гуталин для сапог. Курить давали махорку, но, когда уходили в увольнение, хотелось смолить «Беломор». Это были дорогие папиросы. Сигарет в то время вообще не было.

Раз в неделю водили строем в баню смывать недельный пот, но каждый день летом и зимой по пояс умывались холодной водой. Не болели. Один раз – очень уж хотелось отдохнуть – побегали с товарищем в одних нижних рубашках по морозцу. Вроде как запершило в горле. Однако только сутки продержали в санчасти – выперли как симулянтов. В бане надо было устроить еще и постирушку: выстирать сменную хэбэшную гимнастерку, всю просоленную на спине, портянки. После бани казарма была похожа на сушилку при прачечной. Повседневно ходили во всем хэбэшном и только в увольнение давали неношеную солдатскую одежду.

Учась в суворовском, мечтал стать пограничником, причем военно-морским. В Елабуге же понял, что отныне придется заниматься охранной деятельностью, причем охранять не здания, учреждения и офисы, как теперь говорят, а заключенных. Такая перспектива не радовала и не вдохновляла, но ничего в своей судьбе в тот момент изменить не мог.

Нашими преподавателями были, в основном, офицеры с большим практическим стажем, служившие не один год в системе МВД. Несмотря на то, что люди тогда держали язык за зубами, правда все-таки просачивалась: человек есть человек и ходить по струнке всю жизнь не может. И вот один из преподавателей рассказал как-то в качестве примера, как конвоировал в свое время эшелон зэков. Людей везли в теплушках долго, и в пути случались побеги. Ехали по Сибири. Время – сразу после войны. На Дальнем Востоке в то время жило много китайцев, совсем не говоривших по-русски. В одном из их селений «сгребли» пятьдесят человек и восстановили «поголовье», даже перевыполнили. Вот так обходились с человеческой жизнью... Сейчас, к сожалению, она тоже стоит немного.

Отношение курсовых офицеров, как уже говорил, было строгое, жесткое, требовательное, но справедливое. Наше человеческое достоинство не унижалось. Суворовцев выделяли, потому что мы, действительно, опережали остальных почти во всем: в выправке, физподготовке, учебе. Мозги у нас в ту пору были в общем-то светлыми. Отставали немного по лыжам: в Ташкенте ведь не было снега. Только в Елабуге научился по-настоящему плавать: купались в небольших, но глубоких озерах, образовавшихся как заводи после разлива Камы.

Что дало елабужское училище? Во-первых, способность переносить большие физические нагрузки. Кроме воинской подготовки, караульной службы, всю весну и лето была «борьба» с бревнами: по Каме сплавляли лес, и мы, стоя по колено, а то и по пояс в воде, вылавливали бревна и – огромные, мокрые, очень тяжелые – вытаскивали на берег, складывая в штабеля.

Училище, как и суворовское, научило находиться в коллективе, быть не мямлей, а в передовиках: ведь с нас, суворовцев, остальные брали пример. Обо мне тогда даже написали в газете Приволжского военного округа, и я шибко этим гордился.

Училище как-то развило и интеллект, хотя это была всего-навсего марксистско-ленинская наука. Кстати, кое-что полезное в ней было.

На втором году обучения училище из военно-политического превратилось в обычное пехотное. Были поставлены другие задачи, изменилась программа. Нас это вдохновило: решили, что сможем избежать зэковской охраны. Так потом и оказалось, хотя зимнюю практику проходили на строительстве Куйбышевской ГЭС, которую строили заключенные. Когда ночью стояли на вышке, огни сияли почище, чем в Москве: кончался один лагерь, начинался другой. Практика состояла в несении охраной службы. С заключенными общаться не разрешалось. Работали уже как будущие офицеры, хотя жили в казарме рядом с солдатами. Вместе питались. Уже тогда не мог не задуматься, почему же в стране так много врагов – причем,

не столько воров, убийц, грабителей, сколько политических, то есть тех, кто сидел за инакомыслие. Часто думал о власти: что она такое, какой должна быть.

Чтобы в улье соблюдался покой и порядок, нужна власть, то есть те, кто все регулирует. Но эти «регулирующие» должны быть лучшими из лучших, умнейшими из умнейших, справедливейшими из справедливых. Они должны делать так, чтобы в обществе не было жадности и злобы, обмана и краж, невежества и бедности, не произрастали бы пороки, которые порождаются разделом имущества, себялюбием, враждой, кознями. Почему, почему, думал я, нельзя подражать природе, которая начальниками ставит наилучших, как это происходит у пчел. Почему мы не избираем главным того, кто возвышается благодаря лишь своим добродетелям? В настоящем обществе должности должны доставаться, исходя из практических навыков и образованности, а не из благосклонности и родственных отношений.

Никто, даже Бог, не может лишить человека его естественных прав, свобод, дарованных природой. Кто пытается это сделать, тот покушается на жизнь. Отнятие природных прав у человека вредит не только ему, но и тому, кто это делает. Если хоть одному разрешить стать «сверхчеловеком», все окружающие будут терпеть утрату своих прав, а свобода и справедливость в обществе станут сомнительными.

Приблизительно такие мысли рождались в моей головке, но формулировались, конечно же, попроще.

Люди, стоящие у власти, почти всегда алчны и эгоистичны, считают, что их привилегии должны оставаться по гроб жизни. Насквозь циничны. Так что же делать? Где выход? Думаю, – где только возможно! – давать понять этой власти, элите, что мы всё про них знаем и понимаем, что мы – не безмозглые идиоты, которых можно бесконечно обманывать, околпачивать, подминать. Где только можно, нужно делать так, чтобы вертелись они как ужи на сковородке. Если же станем «покупаться», можно не надеяться на нормальную человеческую жизнь.

* * *

Окончание военного училища выпало на август пятьдесят третьего. Уже в марте умер Сталин. Не хочу в этих записках представить себя шибко умным вообще и в молодые годы в особенности. Но всегда – когда удавалось – читал, думал, а практика на Куйбышевской ГЭС заставила понять многое. Тогда считал, что главный в стране – Сталин, и всё, что творится в ней, зависит от вождя. В основном так оно и было, хотя на местах очень многим распоряжались не просто мелкие сошки, а даже совсем маленькие. И все-таки – не я один – всё хорошее приписывали Сталину. До войны ничего о Сталине не знал, не интересовался им. Надежда, если и говорила о «вождях», то о Ленине и Троцком. О Троцком – после объявления его «врагом народа» – очень тихо, с подругами, которые к нам приходили. Для меня же «вождями» были Ворошилов и Буденный – военные. Они своей внешностью, формой вызывали восхищение. О том, что Сталин – главный, понял во время войны и особенно в суворовском: преподаватели, воспитатели нажимали на это, как могли. Думаю, поступали так не потому, что уж шибко любили «вождя народов». Установка была такая.

Впервые понял, что в государстве что-то не так, на Куйбышевской ГЭС и при сообщении в начале пятьдесят третьего о «деле врачей». Врачи, до того лечившие и помогавшие людям, в один момент превратились во «врагов народа». Был потрясен этим, возбужден, озадачен. Раз Сталин – главный, думал я, значит, это его идея, его санкция. Сомнения, сомнения, сомнения одолевали. Тогда понял: все страшное идет от него, от главного. Вот потому, когда он умер, ничего, кроме пустоты не испытал. Никакого сожаления. Ну, а уж всё, до конца, осознал только после XX съезда партии. Осознал и возненавидел. Возненавидел на всю оставшуюся жизнь.

Писать о преступлениях этого человека нет смысла: об этом написаны тома, а вот сказать о соучастниках этого человека надо. Соучастниками являемся все мы. С нашего молча-

ливого согласия все это творилось. А потому люди моего поколения не хотят, не желают вспоминать сталинское прошлое. Понимают: вольно или невольно были замешаны в репрессиях против самих же себя. Когда сидят миллионы, а другие миллионы молчат или кричат «за» – это и есть соучастие. За эту вину покаяния не произошло. Я имею в виду покаяния внутреннего, не пафосного. Покаяние же – единственное противоядие, чтобы старое не вернулось. Вот потому старое начинает потихоньку возвращаться.

Недавно читал очередной социологический обзор. Пятая часть наших людей считает, что Сталин был «мудрым руководителем». Только он в условиях острой классовой борьбы, внешней угрозы смог победить нашу всеобщую расхлябанность. Люди полагают, что народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого типа, и рано или поздно он придет и наведет порядок.

Я так не считаю. Думаю, что сталинская машина, рухнувшая в 1991-92 годах, идет ко дну. И вместо того, чтобы быстрее ее сбросить и не дать всплыть, судорожно цепляемся за обломки. Общество будет расплачиваться за это цепляние. Вот потому соседние народы и бегут от России как от чумного барака, а мы, вместо того, чтобы задуматься, почему это происходит, еще сильнее натягиваем на себя чумные вериги. Забывать всё плохое – свойство человеческой психики, а если бы почаще вспоминали, сколько миллионов положил «великий» до войны и во время ее, мало бы не показалось. Но цена человеческой жизни у нас никогда ничего не значила.

Конечно, можно сказать, что нас обманывали. Но сколько же можно позволять обман? И, если честно посмотреть, то не сами ли напрашивались и напрашиваемся на этот обман? Не сами ли поддерживали и поддерживаем тот режим, что растирает в порошок, в пыль личность? Не сами ли подхалимствуем перед режимом? Не сами ли стремимся к обманной лжи? Хорошо сказал поэт:

Об истине и не мечтали,
Ложь важно слушали из лож
И ложью новой заменяли
Уже наскучившую ложь.

И коррупция началась не сегодня. Сталин был ее соучастником. Именно при нем были введены «синие пакеты» – конверты, в которые вкладывали деньги партаппарату за то, чтобы молчали и проводили политику генсека. В этих конвертах были суммы, далеко превышающие официальную зарплату.

При Сталине были установлены спецпайки, спецстоловые, спецбуфеты, спецмагазины, спецполиклиники, спецбольницы, спецателье. Идеалисты-большевики потихоньку уничтожались. Выживали циники. А разве в последующем было лучше? Даже у Хрущева, которому можно многое простить за то, что выпускал политзаключенных, руки были по локоть в крови, когда он был первым секретарем партии на Украине. А сентиментальный, целующийся, плаксивый, но хитрый Брежнев? Разве не он двинул войска против Чехословакии? Разве не он затеял бессмысленную войну в Афганистане? А любитель джаза и стихов Андропов? Разве не при нем людей, чуть уходящих мыслями в сторону, сажали в психушки?

Нет, партия, столько раз распинавшая своих лучших представителей-идеалистов, партия, не покаявшаяся в своих преступлениях, не заслуживает никакого уважения и снисхождения. И я вместе с ней...

В суворовском – не понимавший ничего дурачок, как и все, – очень хотел стать комсомольцем, а потом коммунистом. Идеи мировой революции, грезы социализма и коммунизма вдалбливались глубоко и тщательно. Идеи казались прекрасными, радужными, зовущими вперед. Но... уже во время службы в Германии, о чем расскажу дальше, понял: идеи – одно, кон-

кретная партия, ее дела, ее члены – совсем-совсем другое. Однако, служа в армии, не мог быть вне партии: не поняли бы. А потому – по накатанной дорожке...

Окончательно определился, что такое парторганы, уже в Калининграде, работая в милиции. Тут увидел и на собственной шкуре ощутил все двойные стандарты. Но жить надо было. А потому – как все...

Кто-то может спросить: зачем об этом говорю, вспоминаю? Надо, надо, хоть и поздно, говорить правду. Может быть, это от чего-то предостережет потомков.

Теперь снова возвращаюсь к окончанию елабужского училища. Это были месяцы «разборок» с Берией. Берия был нашим министром и вдруг мы увидели, что его портрета нет среди портретов членов политбюро. Первокурсники уже рвали этот портрет на ветошь для протирки оружия. Узнаем: Берия – враг народа, шпион. Поверили? Конечно. Тогда верили всему. Сомневались единицы. Втихомолку, про себя...

Уничтожение Берии лично нам тогда навредило: задержали на целый месяц с выпуском. Наши офицерские кителя пылились в каптерке, с нами не знали, что делать. Наконец, пришел приказ: произвести выпуск, училище расформировать и на его базе создать школу милиции. Она, кстати, существует и по сию пору. Нас, шестнадцать бывших суворовцев, направили в распоряжение Киевского военного округа внутренних войск. По наивности полагали, что останемся служить в Киеве, но черта с два: в Киеве хватало «сыночков». Нас ждали крутые места: послали служить в настоящую «горячую» точку. «Горячей» тогда была Западная Украина.

Вместо Киева оказался в городке Копыченцы Тернопольской области. Конечно, это была не Украина. Это была бывшая Польша с полным набором польских ценностей: костелом, ратушной площадью, маленькими кирпичными домиками, крытыми черепицей и увитыми диким виноградом, колокольным звоном. Места потому считались «горячими», что в окружающих лесах, в схронах прятались бандеровцы. Кто они такие, сейчас объясню.

После войны еще долго на территории Украины, Белоруссии, Литвы действовали банды. Чего хотели эти люди и кто они такие? Это были украинцы, белорусы, литовцы, которые не хотели установления советской власти в тех краях, в которых жили. Они препятствовали этому всеми возможными средствами: подрывали мосты, устраивали взрывы в городской и сельской местностях, но еще – уничтожали тех, кто сотрудничал с Советами. Уводили у крестьян скот, забирали имущество. Диверсионные акты совершали в основном в сельской местности, маленьких городках. Их цель – восстановить людей против устанавливаемого режима. На Украине это была Украинская повстанческая армия – УПА. Действовали и ОУНовцы. ОУН – организация украинских националистов. Фашистское объединение. Они боролись против воссоединения Западной и Восточной Украины. Считается, что к началу пятидесятых годов остатки ОУНовцев были ликвидированы, но это было не так. Возглавлял борьбу Степан Бандера, которого все советское время считали лютым врагом и которому теперь на Украине поставили памятник. В то время, когда я оказался в Копыченцах, то есть в самом конце пятидесят третьего года, разрозненные группы бандеровцев еще оставались, и наша задача состояла в их уничтожении. Часть наша находилась за городом, а мы, трое молодых офицеров-холостяков, поселились в городе у польки, которая сдавала горницу с полным пансионом. Платили ей оговоренную сумму, а кроме того, должны были обеспечить углем. Кровати были застелены чистым бельем, еда подавалась на белоснежной скатерти – господа офицеры! – но порции были настолько микроскопичны, что через час в животе урчало и в магазинчике при части приходилось покупать хлеб, а если были деньги – пряники.

Хотя в городе не было происшествий, ходили все время с оружием – пистолетами – и это ко многому обязывало. Работу заканчивали не поздно и, так как делать было абсолютно нечего – одну и ту же картину крутили в маленьком кинотеатрике неделями, – шли в чайную, где и позволяли себе, но... очень умеренно: помнили, что находимся при оружии. В среду и субботу в небольшом танцзале можно было поработать ногами, пригласив какую-нибудь при-

глянувшуюся польку, однако твердо знали: танцы танцами, но... не более. Если что-то замечали, особый отдел, то есть гэбэшники, тут же делали выводы...

В чем состояла работа? В обучении воинской премудрости молодых бойцов. Часть относилась к войскам МВД, и мы должны были по наводке оперативников участвовать в определенных боевых операциях, то есть уничтожении бандеровцев. Оцепив кусок леса, где они засели, начинали войсковую операцию. Своих убитых они редко уносили, а потому мы их тела раскладывали вдоль оград в деревне в назидание тем, кто собирался податься в банду. Мы не рассуждали тогда, насколько это было гуманно. Приказывали – выполняли.

В части были уже «обстрелянные» офицеры: они люто ненавидели тех, с кем воевали. У меня эти операции не вызывали какого-то подъема и энтузиазма: загонять людей в ловушку и забрасывать гранатами мне не нравилось. Но попробовал бы послушаться приказа...

В операциях были потери и с нашей стороны, не говоря уже о раненых. Операции назывались чекистско-войсковыми.

Почему ОУНовцы все-таки были тогда ликвидированы? Да потому, что их не поддерживало население. Люди понимали, что они ничем в жизни помочь не могут, а вредят здоровью. Озлобленные шакалы, они потом или бежали за пределы СССР, или затаивались, и вот теперь на Украине их последыши снова начали войну, снова сеют ненависть против русских. Подлый национализм никогда ничего хорошего людям не приносил, потому как в основе своей негативен: моя нация – самая лучшая. А почему лучшая? Чем лучше других?

В части, где служил, было много боевых офицеров, прошедших войну и закончивших ее в Германии. Когда в часть приехал вербовщик и стал «сватать» служить в Германию, желающих нашлось не очень много. Но нам, еще не видевшим никакой «заграницы», идея попасть в Германию пришлась по душе. Мы быстро согласились. И уже в декабре пятьдесят третьего получили предписание выехать в Москву. Когда через несколько дней явились в Москву в управление войск, узнали, что поедем в Германию не втроем, а вдесятером – все бывшие суворовцы.

Получив документы и набив один чемодан едой, а второй водкой, были готовы к дальнейшему «полету»: пересечь границу надо было обязательно 31 декабря. Заняв два с половиной купе в поезде «Москва – Берлин», тронулись в путь. Если считать, что были сыты и «подпиты», путешествие начиналось хорошо. В Берлине должны были встречать: языка-то по-настоящему мы не знали. Но... нас никто не встретил. По извечной российской расхлябанности кто-то что-то перепутал. Было десять вечера по местному времени 31 декабря. Все торопились домой. Вспомнив слова, заученные когда-то в суворовском, стали спрашивать, как добраться до Кёпеника, пригорода Берлина, где находился штаб наших внутренних войск. Немцы очень доброжелательно пытались нас понять, а поняв, предложили сесть в электричку. Электричка была кольцевая. Денег немецких не было. Сели без билетов. При входе в электричку билеты не проверяли. Потом, когда уже ехали, прошел контролер. «На пальцах» объяснили, что нет немецких денег. Он улыбнулся и пошел дальше. Ехали минут двадцать до нужной остановки, пересели в трамвай. Меня потрясло, что на столбе висело поминутное расписание трамвайного движения. В Москве и духу такого не было. Кондуктор, поняв, что денег у нас нет, не сказала ни слова. Ехали еще минут десять. Остановка, куда держали путь, была рядом. Недовольный, заспанный старший лейтенант вышел навстречу. Спросил, как добрались, потому как за нами вроде бы выслали машину. Услыхав, что на электричке, даже побледнел: оказывается, сколько-то минут мы ехали через Западный Берлин, а это было «ужаснейшим» преступлением, хотя разделяющей город стены еще не было. Приказал: никому ни слова... Первый вопрос: есть ли жратва, потому что в столовой уже все накрыто для банкета и нас туда не пустят. Мы сказали, что насчет еды беспокоиться не следует и, собравшись в одной из пяти отведенных комнаток, выпили в полночь оставшееся, закусив чем Бог послал.

Комнатки были на двоих и впервые в жизни увидел я низкие деревянные кровати, застланные белоснежным накрахмаленным бельем. Хотя обстановка была самой обычной, нам,

знавшим – сами понимаете что, – всё показалось шиком. Укрывшись пышной немецкой периной, всунутой в накрахмаленный конверт, уснул так, как засыпают в сказке...

Колокольный звон разбудил поутру. Приняв душ, который был при каждой комнатке, направились в офицерскую столовую, в которую вчера не пустили. И тут следующее потрясение: столы были застелены белоснежными скатертями. Около каждого прибора уже стояла закуска. Немки-официантки, неплохо что-то лопоча по-русски, обслуживали быстро и обходительно. После завтрака дежурный сказал, что придется два дня потерпеть, так как первого и второго никто с нами заниматься не станет: все отдыхают. Спрашивается, зачем нужно было отправлять из Москвы тридцатого? Очередной советский идиотизм. Мы приуныли: денег-то немецких не было. Поняв нашу печаль, дежурный «отстегнул» из личных пятьдесят марок: по пяти марок на душу. Конечно, с возвратом.

Кёпеник был совсем неразбитым микрорайоном Берлина, да и к пятидесят третьему немцы уже залатали главные дыры. Погода была как на заказ, а вот денег – мало. Чтобы не «жали» карман, решили тут же спустить, в ближайшем кафе: по бокалу пива с легкой закуской. Походив еще немного, вернулись: без денег какая прогулка?..

Надо сказать, два дня пролетели быстро. Уже третьего утром явился кадровик. Своей волей распределил по точкам. Нам с Володей Зуевым досталась самая южная – высоко в горах. Там стоял 157-ой полк внутренних войск.

Получив проездные документы, деньги и объяснение, как ехать, тут же отбыли в нужном направлении. Скакали как зайцы: у немцев мало поездов прямого назначения. Пришлось сделать четыре или пять пересадок. Только после этого оказались в красивейшем городке Ауэрбах, который был расположен в долине, а вокруг – Рудные горы. В Ауэрбахе находился штаб полка, но в штабе, конечно, нас не оставили, а отправили в один из батальонов, расположенный в горах.

В те годы существовало советско-германское акционерное общество «Висмут», занимавшееся добычей и обогащением урана. На объектах работали немцы-шахтеры, в основном из тех, кто прошел русский плен. Почему они? Да потому, что на бытовом уровне знали русский, считались проверенными и более лояльными к нашей стране. Платили им по тому времени очень хорошо. Попасть на работу в «Висмут» было не так-то просто – строгий отбор. Но когда после восьми часов работы они подымались наверх, на них было страшно смотреть. Однако деньги немцы любили.

На уровне среднего и высшего технического персонала немцы и русские трудились совместно. Привлекались и наши солдатики из инженерно-технических войск. Их ставили небольшими начальниками. До войны в этих горах добывали бурый уголь, но во время войны среди угля нашли и уран. Американцы в какой-то момент отказались от этой территории, а потом, конечно, кусали локти, но было поздно. В пятьдесят третьем – пятьдесят четвертом в ГДР и ФРГ армии еще не было. Была полиция всех мастей: криминальная, охранная, пограничная. Наш полк стоял на границе с Чехословакией. Его задачей была охрана предприятий «Висмута». Мы не вмешивались ни в какие полицейские дела, они – в наши. Но... бывали случаи, когда на своих мотоциклах с колясками они привозили и вываливали у проходных наших пьяных солдатиков, ушедших в самовольную отлучку.

А в общем, жили с немцами дружно, крепили «фройндшафт» и вот сейчас передо мной фотография, на которой я в рукопожатии осуществляю этот «фройндшафт». Насколько было искренне со стороны немцев – не знаю, но внешне все было пристойно. Однако не всегда гладко проходило празднование «фройндшафта». Вспоминается такой случай.

Высоко в горах, у самой шахты, немцы построили новехонький, с иголки, клуб. На торжество открытия были приглашены несколько человек из нашей части. С утра нагладившись, начистившись, намывшись, в полдень сели за длинный стол, на немецкий лад уставленный шнапсом, пивом, тарелками с бутербродами. Через полчаса начал замечать, что солдатики –

один за одним – исчезают из-за стола. Почуввав неладное, выскочил на улицу. Ужасу моему не было предела: многоголовый темно-зеленый спрут бился в яростной кровавой драке. Сержанты и солдаты, опьянев, выясняли отношения. Разнять их было невозможно. Тут же позвонил и вызвал подмогу из гарнизона. Еще харкающих кровавой пеной, их покидали в машину. На белоснежном горном снегу осталась огромная лужа крови. Слава Богу, что не немецкой: не сносить бы мне головы. Почему, откуда взялось такое озверение? Почему, почему так яростно драли они друг друга?

Надо сказать, бывало, когда наши пьяные солдаты грабили немецкие магазинчики, но и тогда немцы не очень возникали, а наше начальство все «полюбовно» улаживало. Часто думаю, почему солдаты так поступали? Что толкало их на это? Ведь были сыты, одеты, обуты. Алкоголь? Нет. Не только.

Когда-то Герцен, сравнивая Россию с Европой, писал, что в нашей жизни, в самом деле, есть что-то безумное. Прошло полтора столетия, но можно констатировать, что именно безумие захватывает все новые и новые социальные институты, и мы уже перещеголяли Европу, если иметь в виду уровень коррупции и отсутствие всякой идейности. Взамен, не утратив безумия, получили некое подобие прагматизма, которое так отвращало лучших русских мыслителей. Мы потеряли душу. Что имею в виду? Под этим понимаю то, благодаря чему живет одушевленное тело. Душа есть не что иное, как наша способность ощущать, и все наши идеи воспринимаются через чувства. Душа – не есть ум. Ум – продукт души. Я не придаю никакого религиозного смысла этому слову. Оно для меня – символ психического равновесия.

Мы потеряли не только душу, но и совесть. Совесть – это закон, живущий в нас. Совесть есть собственно применение наших поступков к этому закону. Совесть – свет, говорящий нам, что хорошо, а что дурно.

Мы потеряли сострадание, то есть способность увидеть в чужих несчастьях свои собственные, предчувствие бедствий, которые могут постигнуть и нас. А самое главное – почти потеряли нравственность, которая черпает свои начала в разуме, любви к общему благу. Для нравственного человека его благо всегда совпадает с благом других. У нас с человеком творится что-то очень неладное. Когда тело покидает душа, оно разлагается. Подобно этому разлагается общество, когда его покидает нравственность. Современное мировое сообщество религиозно как никогда, а войны и кровопролития все увеличиваются. Все жестокости мира только возрастают. Ни образование, ни «генная инженерия» не помогают. Так в чем же спасение? Думаю, в искреннем раскаянии, ибо раскаяние – это еще и отчаяние. Мой друг Валериан говорит, что у евреев есть понятие «тшува». Тшува требует от человека тотальной духовной мобилизации. Раскаяние переживается с огромным психологическим напряжением. Не зря же говорится, что раскаяние находится возле трона Всевышнего.

Современный человек кричит, что он желает быть свободным. Но что такое свобода? Что хочу, то ворочу? Нет! Свобода – это когда существует выбор между добром и злом, но при этом и ответственность за свой выбор. Вчера был выпускной бал в школах города. Случайно попал на Поклонную гору. Было около шести вечера. Стали подкатывать кавалькады лимузинов и старенькие автобусы. Отовсюду выходили пьяные дети. На девушках длинные платья с декольте, вечерние прически. А взгляд – пьяный, осоловелый. Господи! Куда катимся?..

* * *

Место, где была первая точка службы в Германии, немцы называли «Клейн Сибирь». По сравнению с долиной, с Ауэрбахом, – очень холодное, но красота неопишуемая. Рабочих к шахтам привозили в автобусах. У всех с собой были железные коробки, в которых лежали бутерброды, а водой-газировкой и кофе обеспечивала шахта. Вода, кофе были «проуранены»,

потому когда шли немцы с работы через проходную, часто начинала срабатывать сигнализация на жидкость, находящуюся в их желудках и кишках. Но кто на это обращал внимание. Какая там экология!.. Платили хорошо – вот и всё.

Работали по восемь часов, в три смены, и труд был не столько тяжел, сколько вреден. Были случаи, когда немцы-рабочие пытались вынести маленькие мешочки обогащенной руды. Для чего? Для шпионажа. Кто-то им заказывал, чтобы точно удостовериться, что здесь добывают уран, и установить его качество. За деньги шли и на это.

Кроме высокой зарплаты, рабочим давали талоны, по которым за копейки можно было приобрести нужные товары. В качестве курева нам выдавали махорку, и немцы были страшно довольны, когда солдаты меняли махру на талоны. Их, немецкие, сигареты были дрянными.

Что делали с рудой? Отвозили на обогатительную фабрику, которая находилась внизу, в долине. В цеха фабрики нас, охраняющих, уже не пускали. Там работали немцы, имевшие спецдопуск, и наши солдаты-чернопогонники из инженерно-технических войск. Всё было страшно засекречено: иностранные разведки, конечно же, интересовались этими объектами. Если солдат из охраны задерживал немца, несшего в мешочке руду, ему полагался в качестве поощрения десятидневный отпуск на родину.

Процент урана в руде был невелик: в грузовике, вывозившем руду, бывало, наверно, два-три грамма урана. Обогащенную руду для дальнейшей обработки отправляли на Урал.

Удивляло нас при общении и такое: если немец давал своему товарищу закурить, берущий сигарету клал в портсигар приятеля десять пфеннигов. Разве среди наших это было возможно?

К моменту моего приезда в Германию прошло почти девять лет с окончания войны. Наши города стояли еще в руинах, жили трудно и очень бедно, а немцы, хоть и не шиковали, но были сыты и очень прилично одеты. В магазинах было всё. Никто по благу ничего не «доставал». За всё время не видел ни одного пьяного, валявшегося на улице, а уж дома их, даже сельские, казались дворцами по сравнению с нашими хибарами. Это видели не только мы, офицеры, но и наши солдаты. И они не могли не спрашивать себя и друг друга: почему? Солдаты тоже понимали, что есть на то причина, но – Боже упаси! – говорить вслух... А на политзанятиях я «вещал», что мы самые-самые...

Всю правду о Великой Отечественной тогда еще не знали да и теперь не знаем до конца. Из прочитанного да из реальной жизни понял, что не Сталин и не полководцы привели к Победе. Победили простые солдаты ценой своей жизни. Именно жизнь солдат были разменной монетой в расплате за неудачи, отсутствие военной техники и оружия, за слабоумие начальников и старших командиров.

Солдат в Отечественной предали дважды, а, может, и трижды. Сначала их не вооружили, но постоянно убаюкивали: «Броня крепка и танки наши быстры». Потом скрывали, что «завтра война», а тех, кто допытывался, отправляли в места, не столь отдаленные. Когда же война случилась, обезглавленная армия начала расползаться по швам. И опять же простой солдат не знал, что делается впереди, где фронт, где фашистский десант. Шел в никуда, брел в неизвестность, потому что его приучили к мысли, что есть мудрейший из мудрых, который знает, куда надо идти, а ему, простому солдату, надо только кричать «ура!» и убить себя, но не сдаться в плен.

Теперь у нас ностальгия по войне и нам кажется, что все было сделано правильно и хорошо. И мы плохо помним о миллионах тех, кто расплатился за глупость и недалекость руководителей. Но на войне ярко проявилась людская честность и чистота, которой теперь почти не осталось, и вот, может, сами того не понимая, ностальгируем, прежде всего, по этой порядочности.

Мы редко задаем себе вопрос, кто мы и что из себя представляем. Видимо, у общества нет потребности задумываться о собственных персонах. Мы все еще живем политическими

и экономическими заклинаниями, и сегодня нам уже нужны не деятели, а дельцы. Между тем, народ – это не только поколение, что живет сегодня. Это череда поколений, которые хранят живую культурную традицию. Но нынешнее население в значительной степени выбито из этой традиции. Мы, в основном, спим, а общество – инертно.

Устал тот ветер, что листал
Страницы мировой истории,
Какой-то перерыв настал,
Словно антракт в консерватории.
Мелодий нет. Гармоний – нет.
Все устремляются в буфет.

Мы плохо воспринимаем то, что делает власть, и только относительно узкий круг политиков и средств массовой информации пытается как-то осмыслить происходящее. Однако, осмысление гаснет в вязком вакууме. Так бывает со спящим человеком. Проснувшись, он пойдет туда, куда толкнет его ситуация.

Если правители запрещают думать, если «думание» ничего не дает, люди предаются лени и водке. Они отвыкают размышлять, их внимание трудно сосредоточить на серьезном, значимом, позитивном. Так рождается невежество. История говорит, что заблуждение иногда может быть временно и полезно, но потом оно всегда становится источником величайших бед. Скрытие истины всегда чревато катаклизмами.

Несчастье людей обычно проистекает от несовершенства законов, от слишком неравномерного распределения богатств. В большинстве государств – и Россия здесь не исключение – существует только два класса граждан: один – лишенный самого необходимого, другой – пересыщенный излишествами. Второй класс живет в изобилии, но зато изнывает от скуки, а скука – такое страшное зло, что толкает к всевозможным порокам. Пороки всегда рождаются среди верхушки, а потом перекачываются вниз. И другая беда постигла нас: мы упали духом. Народ, упавший духом, говорит себе как осёл в басне: кто бы не был моим хозяином, моя ноша останется столь же тяжелой. Раб равнодушен к общественному благу. Он лишается активности, энергии, у него притупляются ум и талант. Рабские руки не способны обрабатывать и оплодотворять землю.

Сейчас церковники кричат, что всё пойдет на лад, если все объединятся вокруг церкви и станут православными. Господи! Какой же бред... А куда деваться другим, особенно мусульманам, которых в стране больше двадцати миллионов?

Все, кто не видит реального дела для России, говорят, что виноваты в этом малочисленные народы. Они мешают русским жить и развиваться. Разве это так? Работая с молодежью, вижу, как умные молодые головы понимают, что корень зла не в этом. Они понимают, что мы – по сравнению с другими – недотягиваем из-за лени и пьянства, и им за это стыдно. Все дело в том, что не умеем, не хотим решать главные, самые важные для страны задачи. Не умея, не желая решать главное, начинаем копать в том, кто более православный...

* * *

Не могу сказать, что нам так уж нравилась немецкая экономность, когда самый малый пацан в кожаных коротких штанах, доставшихся от деда, выпрашивал у нас пфенниги не потому, что был голоден, а потому, что уже имел сберкнижку и клал деньги, копя на что-то, что хотел купить. Вот с такими пацанами приключился у меня однажды неприятный случай. Я шел по лесной опушке, возвращаясь в часть из деревни, и вдруг собака – немецкая овчарка, – что шла без поводка с тремя мальчишками лет восьми-десяти, бросилась на меня. Я мгно-

венно выхватил пистолет. «Герр офицер! Герр офицер!» – с отчаянием и слезами закричали пацаны. – «Нихт шиссен, ниht шиссен!...» Им втроем удалось ухватить кобеля за ошейник. Вздернутый, стал быстро удаляться, а вслед всё еще слышал: «Данке шён, данке шён...»

За время службы в Германии все-таки схлопотал взыскание. Послали в близкую командировку вниз, в долину. Уезжая, отдал необходимые распоряжения. Все, кто должен был нести службу, оставались на местах. Но двое старослужащих, поняв, что меня часов пять не будет, отправились в деревню, где был ресторанчик. Потребовав налить шнапсу, вольготно расселись за стойкой. Выпили. Потребовали еще. Хозяин налил. А когда заявили о своем желании в третий раз, трактирщик отказал, сказав, что хватит, довольно, и так хорошо пьяны. Мои подопечные взвились: какой-то немчуришка будет указывать им, советским солдатам, сколько пить. Выхватив пистолеты – они были при оружии, так как стояли на вахте, – начали стрелять в потолок. Немец завопил: наверху, на втором этаже, находилась его семья. Вызванные полицейские, скрутив голубчиков, кинули их в мотоциклетную коляску и, проехав полтора километра, вывалили у проходной шахты.

Узнал о случившемся, когда вернулся. Примчался командир батальона. Солдат заперли на сутки в холодном сарае. На меня наложили десятидневный домашний арест, хотя в чем был виноват? Был. В недостаточном воспитании этих дураков, с которыми всегда обходился по-человечески. В ближайшие дни меня должны были переводить из кандидатов в члены партии. Всё застопорилось и только через какое-то время, понимая отсутствие прямой вины, выдали партбилет. Старый человек поймет, что значило в пятьдесят шестом году оказаться быть выгнанным из партии...

В пятьдесят пятом в Западной и Восточной Германии проводился общий референдум: выводить или нет иностранные войска с немецкой территории. ГДР держала курс на вывод войск с обеих территорий, но в Ленгенфельде, где была обогатительная фабрика и куда ездили мы каждый день за свежим хлебом, булочник-частник однажды сказал, что он против вывода войск. Я спросил, почему. Объяснение было простым и банальным: вывод войск означал крах его бизнеса...

Служба в Германии, конечно же, «обогастила» меня: я, не имевший до того никакой гражданской одежды, стал обладателем трех шикарных костюмов. Все шил на заказ. А уж рубах купил штук десять. Моя зарплата вполне позволяла. Тысяча рублей – тогда это были очень приличные деньги – шла советскими деньгами в Москве на сберкнижку. А здесь платили марками. И, если бы меньше тратил на шнапс, мог занять не три, а шесть костюмов. Но я не жадный, а главное – мама Надя перестала нуждаться.

Почти все офицеры в гарнизоне жили семьями. Я и еще два-три офицера были холостяками. «Оттягивались» мы – будь здоров! Конечно, во внеслужебное время. Но марки уходили. А вот жены семейных офицеров забирали у них всю зарплату и покупали, покупали тряпки, которые потом в Союзе перепродавали втридорога. Мне это было очень противно. Своим родным я привозил просто подарки.

В пятьдесят шестом командировали в Броды Львовской области на приемку и обучение молодых солдат. Солдатики были набраны со всего Союза. Особенно темными были почему-то западные белорусы – из глубинных деревень. Не хочу никого обидеть, но солдатики никогда не видели макарон. Макароны были толстые, с дырочкой внутри. Солдаты пошустрее и сержанты заставляли новобранцев, дежуривших на кухне, «продувать» эти серые палочки или посылали их в котельную за паром, который надо бы принести в ведре... На этом вся дедовщина кончалась.

Летом пятьдесят шестого было принято решение о сокращении наших войск в ГДР. Сокращение коснулось, прежде всего, «охранных» частей. Свои полномочия передали немецкой полиции. Нас погрузили в вагоны и... «нах хаузе», то есть вначале во Львов, а потом кого куда. Поскольку был москвичом, мой путь лежал в первопрестольную.

* * *

Наверно, нет мыслящего человека, кто бы не задумывался о любви, то есть о том, что она значит. Трудно дать определение этому чувству. О любви лишь можно сказать, что для души – это жажда властвовать, для ума – внутреннее сродство, для тела – скрытое и утонченное желание обладать. Иногда любовью именуем несколько коротеньких безумств, а браком бывает глупость, которая кладет конец этим безумствам. Любовь – не животное угадывание друг друга. Любовь, по-моему, прежде всего сострадание. Это факел, освещающий путь в высоту.

Любовь одна, а подделок под нее тысячи, но если не знаешь покоя из-за предмета своих воздыханий, если перестаешь жить из-за страха его потерять, наверно, это и есть любовь. Как настоящая дружба не знает зависти, так настоящая любовь не знает кокетства. И счастье любви заключается в том, чтобы любить. Люди гораздо счастливее, когда сами испытывают страсть, чем когда ее внушают. И вообще истинная любовь похожа на приведение: все о ней говорят, но мало, кто видел...

Но вот люди перестают любить друг друга. Часто это бывает предательством, у которого могут быть разные причины. Предательство совершается иногда не по обдуманному намерению, а по слабости характера. Если же все-таки произошел этот раскол, думаю, не надо идти на жертвы. Когда люди начинают ненавидеть друг друга, зачем заставлять их жить вместе? И тот, кого разлюбили, наверно, сам виноват, что вовремя этого не заметил.

Бывает такая любовь, которая в высшем своем проявлении не оставляет места для ревности, но ревность существует столько, сколько существует человек. Ее терзания – самые мучительные из терзаний, к тому же менее всего внушающие сочувствие тому, кто их причиняет. Ревность питается сомнениями, и она умирает или переходит в неистовство, как только сомнения переходят в уверенность. Но пока люди любят, они всё прощают. И порою легче стерпеть обман того, кого любишь, чем услышать от него всю правду. В ревности больше себялюбия, чем любви.

А вообще в женщине – все загадка. Разгадка одна – беременность. Мужчина для женщины – средство. Ее цель – почти всегда ребенок. Женщина лучше понимает детей, а детского в мужчине много. В настоящем мужчине всегда сокрыто дитя, которое хочет играть. Двух вещей всегда желает мужчина: опасности и игры, а потому женщина нужна мужчине как самая опасная из игрушек. Счастье мужчины – «Я хочу...» Счастье женщины – «Он хочет...»

Порядочная женщина – скрытое от всех сокровище и, найдя его, мужчина не станет хвастаться. А добродетель женщины состоит в уважении к самой себе, в целомудрии. Публичная невоздержанность – верх испорченности, но она никогда не бывает национальным пороком. Девушка или женщина, имеющая любовника, далека от того, чтобы считаться погибшей, если руководствуется любовью и неподдельной нежностью. Испорченной женщину можно считать лишь тогда, когда у нее на уме меркантильные интересы.

Не согласен с тем, что женщины – кошки или коровы. Так, как умеет любить женщина, не умеет мужчина. В любви женщины есть и внезапность, и молния, и тьма рядом со светом. А преданность?.. А изящество, которое для тела то же, что здравый смысл для ума.

Ненавижу и презираю похотливые отношения, похоть. Именно ее считаю источником всех преступлений.

На свете немало женщин, у которых в жизни не было ни одной любовной связи. Но очень мало таких, у которых была бы только одна. Однако это не делает их менее желанными.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.